

Франтишек Лангер

РОЗОВЫЙ МЕРКУРИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства
От автора
Кварт-блок розовых Меркуриев
Хайдарабад — воздушная почта
Очищено снаружи и внутри
Чемодан с заморскими
J. R. Official
Редкостная надпечатка 2F. 50 Cent. Belgien
Colonia Popper

От издательства

Творчество видного чехословацкого писателя Франтишека Лангера советскому читателю мало знакомо. Из всего обширного и разностороннего литературного наследия Лангера на русский язык переведены лишь две книги—антифашистская повесть «Дети и кинжал» и детская книжка «Братство белого ключа», переведенная на многие языки народов СССР.

Лангер принадлежит к одному поколению с такими широко известными у нас писателями, как Карел Чапек и Ярослав Гашек. С Чапекон он был в большой дружбе еще со студенческих лет. Наиболее зрелое, активное творческое время всех троих писателей приходится на 20—30-е гг. В это время Гашек писал своего Швейка, Чапек создал всемирно известные драмы «Р. У. Р.», «Средство Макрополус», «Война с саламандрами», «Мать» и др. Как и Чапек, Лангер в те годы был сторонником философии квиетизма — смирения человека со своей судьбой, достижения внутреннего мира.

Франтишек Лангер родился в 1888 г. Литературой начал заниматься еще будучи студентом медицинского факультета. Самый ранний период его творчества был связан с увлечением идеями анархизма, тогда же он отдал дань формализму и неоклассицизму— течениям, в то время модным в Европе. В это время Лангер участвовал в создании «Партии мирного прогресса в пределах законности», председателем которой был Гашек, явившейся

своеобразным протестом против абсолютизма австро-венгерской монархии. В качестве военного врача Лангер принял участие в первой мировой войне. Был на русском фронте, где попал в плен. В России вступил в чехословацкий легион и, как многие другие чехи и словаки, он в то время не сумел понять, на чьей стороне правда в русской революции.

После возвращения на родину Лангер большую часть своего времени посвящал литературному труду. Когда гитлеровцы оккупировали Чехословакию, Лангер эмигрировал во Францию. Там он занимал пост начальника медицинской службы чехословацких воинских частей, выступавших против гитлеровцев. А когда Франция была оккупирована, Лангер вместе с чехословацкими частями переправился в Англию, где он занимал тот же пост, что и во Франции, получив воинское звание генерала.

В 1945 г. Лангер вернулся на освобожденную родину и целиком посвятил себя литературе.

Творчество Лангера 20—30-х гг. было посвящено, главным образом, окраине большого города. Пожалуй, как никто другой из его современников, Лангер знал быт, нравы, психологию и язык пражской окраины — периферии, как это звучит по-чешски. Героями почти всех его пьес, рассказов, повестей после первой мировой войны являются «маленькие» люди. Лангер отлично знал их, знал социальные отношения предместья большого города, видел причины, порождающие неравенство, но не сумел разоблачить самые основы капитализма, выход он видел не в классовой борьбе, а исключительно в сфере морали.

Его пьеса «Верблюд в игольное ушко», написанная в 1923 г., имела шумный успех. Она получила государственную литературную премию, была дважды экранизирована. Герой пьесы, молодой представитель богатой, но вырождающейся семьи, для «освежения крови» женится на простой девушке из народа. Но девушка сама потом обнаруживает незаурядные предпринимательские качества и становится под стать семье. В следующей драме «Периферия» писатель ставит проблемы преступления, вины и наказания. Одна из наиболее известных пьес Лангера «Обращение Фердыша Пишторы» написана в 1929 г. Главное действующее лицо — карманник Пиштора — спасает из горящего дома детей и становится героем в глазах окружающих. У него появляется стремление зажить нормальной, порядочной жизнью, но та честная жизнь, которую ведут окружающие Фердыша мещане, — серая, однообразная, тупая — оказалась для него невыносимой.

Пьесы Лангера написаны рукой опытного мастера, большого художника, в ней остроумные ситуации, неожиданные сюжетные повороты, великолепный язык, лица буквально выхвачены из жизни. По свидетельству критиков, мало кто другой из чехословацких писателей так хорошо знал законы сцены, как Лангер. Не удивительно, что ряд пьес Лангера переведен на многие европейские языки и до сих пор не сходит со сцен не только чехословацких, но и ряда зарубежных театров.

В годы оккупации Чехословакии фашистской Германией Лангер написал книгу «Дети и кинжал». В этой книге отразились патриотические чувства народа, показана его нравственная сила в борьбе против фашистских захватчиков. Эта книга принадлежит к числу лучших произведений чехословацкой литературы, посвященных справедливой борьбе героев Сопротивления.

За заслуги в области литературы Народная Чехословакия присвоила Франтишкеку Лангеру, одному из первых чехословацких писателей, звание народного художника.

Предлагаемые советскому читателю «Филателистические рассказы» Лангера писались в разное время. Они публиковались в периодической печати, а отдельной книгой вышли в последние годы жизни писателя, в 1964 г. В мировой литературе существует немало книг, непосредственно посвященных филателии. Рассказы Лангера — одно из этих произведений. Они построены в форме беседы автора с одним из крупнейших на его родине (да и во всей Европе) знатоком филателии — Кралом.

Пан Игнац Крал работает в банке, занимает там должность служащего, определяющего фальшивые банкноты. Обладая особым чутьем, он безошибочно обнаруживает

фальшивки, заменяя собой целую лабораторию. Эту способность он приобрел благодаря многолетнему общению с марками.

В центре внимания филателистических рассказов Лангера опять «маленький» человек с его судьбой, думами и чувствами. Старый коллекционер сталкивается со многими людьми, причастными к филателии, нередко это высокопоставленные персоны, и всегда пан Крал выступает носителем некоей филателистической морали: «В филателии, — говорит он, — должны господствовать деловитость и честность... В коллекционировании марок самым главным является страсть, с которой мы их разыскиваем. Не деньги, а моя жизнь в этих марках».

Устами коллекционера ведется интересное повествование о происхождении различных редких марок, цельных вещей, штемпелей. На протяжении всей книги как бы излагается наука филателии, из которой наш читатель может почерпнуть для себя немало полезного. Книга учит филателистической зоркости, серьезности в поисках, любви к коллекционированию.

Крал, как говорится, «человек не от мира сего», у него нет семьи (его невеста в свое время проявила грубое мелочное стяжательство, и он предпочел жизнь старого холостяка), марки ему заменяют все на свете. Такие люди, как пан Крал, — возможно, без его крайностей — существуют не только в Чехословакии. Благородной страсти собирания, коллекционирования марок посвящают свой досуг миллионы людей во всем мире. Советские филателисты, многие собиратели в других странах ищут и находят в коллекционировании способ расширения знаний, удовлетворение своих духовных потребностей. Им чужда проблема материальной заинтересованности, наживы, спекуляции, чем заражены многие собиратели в капиталистическом мире. Советские филателисты, особенно молодежь, участвуют в международных выставках, они представляют на них великолепные коллекции, получают награды, дипломы.

Герой рассказов Лангера лично бескорыстен. Он может помочь правителю княжества Монако получить недостающую редкостную марку для коллекции, а вот к ордену, который Крал получает за это, старый коллекционер совершенно равнодушен. Он может помочь наследному принцу Великобритании выпутаться из трудных житейских обстоятельств, оказать британской короне неоценимую услугу, и все это он делает только из любви к маркам. В среде филателистов Игнац Крал бог, далай-лама. В его скромной квартире, где владеют марки, сживали важные персоны, влекомые в этот дом своей страстью. Сидели и ждали «приговора», который пан Крал должен был изречь их ценным или же неценным маркам.

Но в то же время Крал типичный обыватель, ограниченный во всем, что выходит за пределы марок, составляющих мир его интересов. Он действительно обладает, как филателист, колоссальными знаниями и опытом. Он охотно соглашается помочь дружеской стране разоблачить шпиона, который для передачи сведений пользуется особым способом наклейки на свои письма марок. Крал принимает в этом разоблачении самое живое участие, поскольку его действия не выходят за пределы буржуазной добропорядочности. Но как только юный владыка одного из индийских княжеств, с которым Крала связывает общий интерес к маркам, попросил Крала помочь освободиться от британского колониального рабства, он отговаривает патриотически настроенного молодого правителя от борьбы, при этом его особенно беспокоит, что война, в том числе и освободительная, может обеднить филателистов, способствует хаосу в выпуске почтовых марок.

Господин Крал в изображении Лангера типичный мещанский романтик, который далек от всего, что выходит за пределы его области интересов.

Книга «Розовый Меркурий» написана рукой большого мастера. И хотя истории, рассказанные паном Кралом, также как и сам пан Крал, не имели места в действительности и представляют собой плод фантазии автора, но сама романтика собирательства изображена Лангером талантливо, увлекательно, многие страницы пронизаны тонким юмором, освещены мудрой улыбкой автора. Мир марок, его законы, этика и эстетика, техника коллек-

ционирования описаны с большим знанием дела. Надо полагать, что книгу прочтут с большой охотой и пользой для себя не только филателисты и что у людей, до сих пор не проявлявших интереса к маркам, он появится.

Под конец жизни Франтишек Лангер отошел от квиетизма, в эти годы он выступал — в особенности в своем рассказе «Речь над колыбелью» — за социализм, за демократию и мир между народами. По случаю его 75-летия орган ЦК КПЧ «Руде право» отметил, что «Ф. Лангер своей антивоенной тематикой идет от истоков подлинно гуманистических и демократических свойств его богатого творчества. Как и всех передовых чешских писателей, именно они характеризуют его лучшие произведения».

От автора

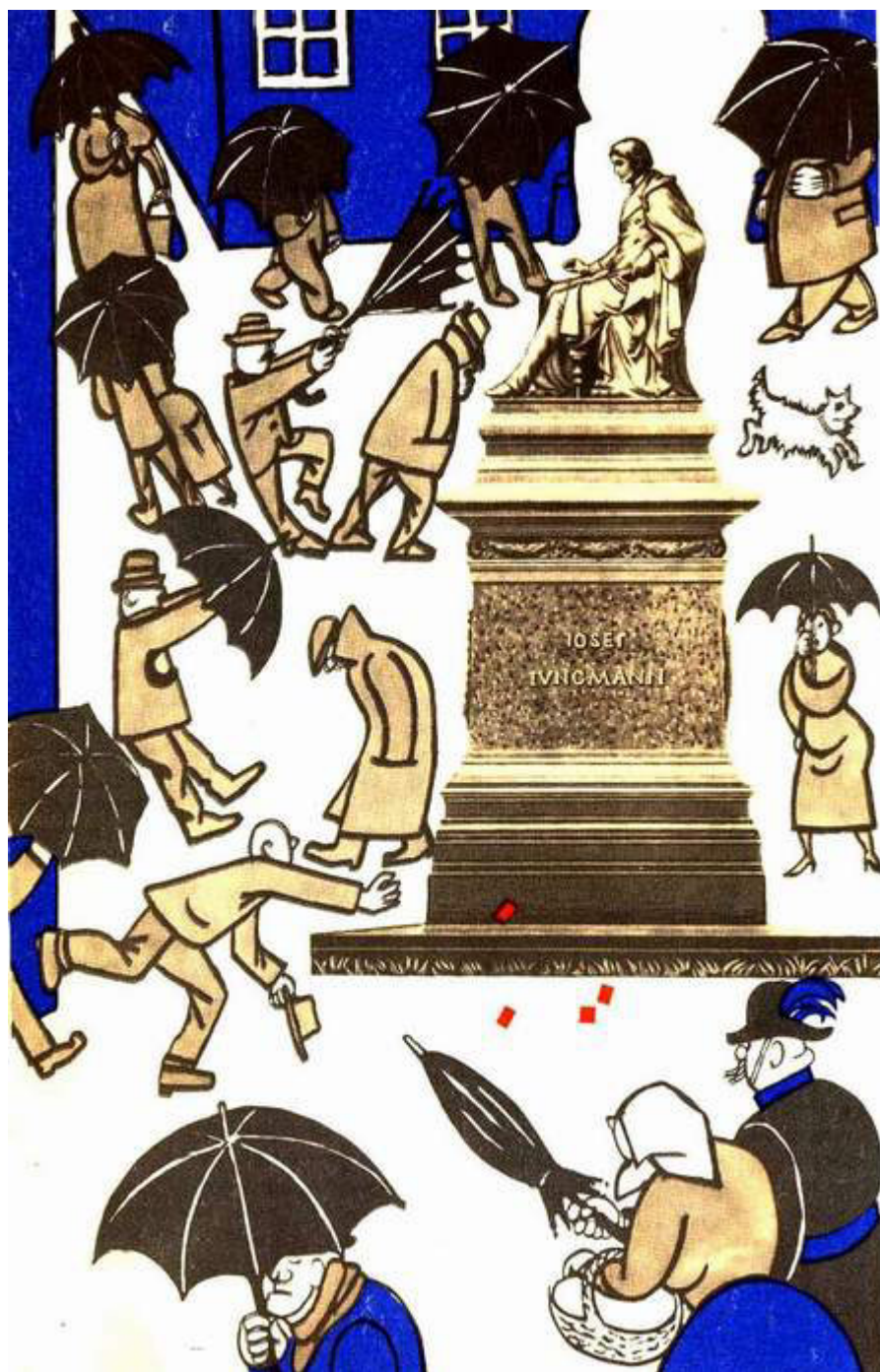
Как и все мои товарищи, я начал собирать марки, как только мы научились различать буквы и цифры. Собирать означало обшаривать папину корзину для бумаг, умолять дядю, жившего в Дрездене, посылать мне марки из Германии и тратить каждый свой крейцер в писчебумажной лавке на иностранные марки. Но собирать марки означало также обмениваться с мальчишками, отдавать им свои двойники за их дублеты, расхваливать свои и хулить их марки. В то время в Праге на медицинском факультете учились два моих двоюродных брата. Они-то и нашли в каком-то журнале адреса коллекционеров в различных странах, желавших обмениваться марками. Братья помогли мне сочинить письмо и посоветовали вложить в него австрийские и венгерские марки. Неожиданно я получил в обмен за них довольно много различных марок из разных концов света и из Индии. Марки из Индии были так же замусолены, как мои. Скорее всего, их посылал такой же, как я, мальчишка. Позднее я написал о нем свой первый филателистический рассказ. Этот мальчишеский этап закончился, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Я тогда впервые влюбился. Платонически и на расстоянии. Вернувшись в 1920 г. после войны домой, я снова принялся коллекционировать. Мое сердце увлекли наши марки, на которых не то всходило, не то заходило солнце за Градчанами ¹⁾, и я начал собирать их, так сказать, на патриотической основе. Однажды, в поисках темы, пришло мне в голову, что ведь о марках можно было бы написать даже рассказы. Мне нужно

было, конечно, сначала побольше узнать о них. Я нашел господина Эрвина Гирша, руководившего «Трибуной филателистов», которая выходила в издательстве Борового. У Гирша были богатая библиотека книг о марках, проекционный фонарь и микроскоп для их рассматривания, и целая химическая лаборатория. Познания Гирша о марках были истинно феноменальными. Он был общителен, весел, ласков, и я узнал от него все, что мне требовалось. Это было время научного коллекционирования, когда марки оценивались эстетически, графически, исторически, когда искали и собирали экземпляры с отклонениями и неправильностями. Время, требовавшее настоящего филателистического судьи, разоблачителя подделок и мелких мошенничеств, защитника прав филателиста и филателистической правды.

Я собирал лишь наши марки, но при этом интересовался вообще миром марок, его законами, этикой, эстетикой и техникой, коллекционерским кодексом, экономическим значением марок. Однако истинное наслаждение мне доставляло писать о них рассказы. Было нелегко выдумывать и сочинять их. Поэтому я написал их немного, всегда приурочивая примерно один к рождеству, а один — к пасхе.

Но потом наступили тридцатые годы, когда люди перестали улыбаться. Однажды марки ужаснули меня. Это когда на них появилось: «*Protectorat Bohmen und Mahren*»²⁾). После этого у меня пропало желание иметь полную коллекцию марок нашей республики. Я не возвращался к ним больше. И к рассказам о них.

Франтишек Лангер



Кварт-блок розовых Меркуриев

Маленькая Юнгманова площадь, наверное, была когда-то идиллическим уголком. Ведь именно на ней, в середине круглой клумбы с белыми розами, поместили памятник славному лингвисту спокойного девятнадцатого века. Однако ныне Йозеф Юнгман, важный и уравновешенный чешский классик, поглядывает из своего кресла на бешеное круженье у своих ног: спокойный уголок постепенно превратился в один из наиболее безумных пражских перекрестков.

Пожилой человек, шедший в тот вечер на шаг впереди меня, видимо, желал подвергнуться экзамену по ясновидению, выдержке и ловкости, каким является переход через этот перекресток в вечернее время. Ко всему этому он нес еще под мышкой две тяжелые книги, а левой рукой, в которой находился зонтик, придерживал шляпу, потому что кружили не только автомобили, но и ветер. Ему посчастливилось. Его лишь слегка задело

крыло автомобиля, и когда он пошатнулся, я вовремя подхватил его. Корректный от природы, я помог ему поднять выпавшие из его рук тяжелые фолианты. Он был очень бледен и растерян, и я не оставил его, привел в кафе на углу, заказал по рюмке коньяку.

— Я — Игнац Крал, поверенный Промыслового банка, — представился он мне, отхлебнув глоток коньяку и запив его водой. — Я очень обязан вам. Вы спасли мне жизнь.

— Не так жизнь, — откликнулся я, — как вот эти толстые книги. Автомобили вряд ли стали бы с ними церемониться.

Крал нежно прижал к себе свои книги.

— Мне было бы жаль их, — сказал он. — Видите ли, я балуюсь филателией, — он постучал по обоим томам. — Было бы обидно потерять часть своей коллекции.

Только теперь этот пожилой человек вызвал у меня живой интерес. Я знал многих филателистов мальчишеского возраста, но никогда не встречал ни одного, которому, на мой взгляд, было под шестьдесят. Я припомнил свой тонкий ребячий альбомчик, мысленно взвесил оба фолианта и спросил их хозяина с должным уважением:

— Это ваша коллекция?

Крал посмотрел на меня как-то искоса, слегка прикрыв веки. Спустя несколько месяцев после нашего знакомства, я понял, что такой его взгляд означает изобличение в филателистическом невежестве. Что-то вроде учительского: «Садись, получай кол».

— Да нет, это лишь часть ее. Кое-какие мои швейцарские марки.

Я вспоминал: когда мне было двенадцать и даже четырнадцать лет, марки этой маленькой страны — на них был изображен Вильгельм Телль — вполне умещались на одной, да и то, кажется, неполной страничке моего альбомчика. А тут два таких толстых тома! Я высказал свои мысли вслух. Господин Крал снова одарил меня своим косым взглядом. Потом он принялся объяснять, что, хотя швейцарских марок имеется только около трехсот, настоящий коллекционер найдет среди них тысячи разновидностей в зависимости от типографских плит, бумаги, оттенков цвета и видов зубцовки, не говоря уже о штемпелях, надпечатках и других редкостях.

Все это, суммированное мною сейчас в одном, правда, довольно просторном предложении, пан Крал, уже совсем пришедший в себя, излагал добрых полчаса. Это была настоящая научная лекция, которая украсила бы любую университетскую кафедру. Она состояла из глав, и после каждой из них пожилой человек делал паузы, выпивая при этом по глотку воды. Абзацы он отсчитывал на пальцах, начиная их словами: во-первых, во-вторых, в-третьих... Когда он говорил тише, то я ясно видел места, напечатанные петитом, а поднятый указательный палец означал, что сказанное следует отнести к подстрочным примечаниям. И, как всякий научный труд, лекция его была насыщена множеством цифр, дат, названий мест, книг, журналов, каталогов и авторитетов.

За эти полчаса он порозовел, между тем как я чувствовал, что бледнею и у меня кружится голова. Лишь когда он протянул руку за фолиантом, чтобы дополнить, как он выразился, свою теоретическую лекцию практической иллюстрацией, я пришел немного в себя. Мои силы внезапно восстановила та давняя двенадцатилетняя пора, которую каждый человек носит в себе до самой смерти, и я ощутил вдруг огромное любопытство к коллекции пожилого господина. То, что я увидел, не было даже в дальнем родстве с моими мальчишескими марками, замусоленными, порванными, жалкими, казавшимися прекрасными лишь детскому воображению. Ни один паренек не смел даже и мечтать о таком волшебном кладе, о таком великолепном музее. В этих томах, лист за листом, швейцарские марки приятно радовали глаз своими нежными красками, иногда отделенные одна от другой, как танцовщицы, или, наоборот, выстроившиеся, как рота солдат, строка за строкой. Много раз отдельные марки или даже целые группы марок повторялись и, на мой взгляд, выглядели совершенно одинаковыми, однако для господина Крала они были полны существенных различий. Иные, густо устланные марками страницы, внезапно сменялись, скажем, лишь одной единственной строкой марок. Но бывало и так, что в центре целой страницы сияла одна единственная марка, по-видимому, из-за своей ценности заклю-

ченная в прозрачный блестящий конвертик. Тогда большое белое бумажное пространство вокруг нее казалось ореолом.

Переверачивая так листы, господин Крал внезапно замер от удивления. Одна страница была пуста, и лишь следы наклеек показывали, что недавно здесь хранились марки. Он с беспокойством рассматривал пустые места и потом заметил:

— Значит, они выпали отсюда, когда книги выскользнули у меня из рук.

— А они были редкими? — спросил я у него тем же тоном, каким мы, мальчишки, когда-то спрашивали друг друга.

— Жаль. Среди них была весьма приличная пара пятисантиметровых марок Женева выпуска 1843 г. Что ж, в дублетах у меня есть еще одна такая пара, но похуже.

Это был ответ на непонятном для меня языке, и я попытался получить перевод на самом понятном языке в мире, а именно на языке цифр. Я спросил, сколько она стоила бы.

— Если бы мне вздумалось купить ее, — откликнулся он, — то наверняка пришлось бы отдать двадцать тысяч. Конечно, если бы какой-то случай свел меня с ней. Но я говорю вам, мне незачем ее покупать.

Услышав это, я немедленно расплатился и решительно заявил пожилому человеку, что направлюсь искать марку. Не позволим же мы валяться двадцати тысячам где-то в грязи.

Но он не разрешил мне даже встать со стула.

Придет же в голову — снова кинуться в этакую кутерьму! Эти марки не стоят того. Вы что, не дорожите жизнью?

И, чтобы отвлечь меня от этого намерения, он снова принялся перелистывать страницы альбома и, давая специальные объяснения, рассказывал, кроме того, короткие исторички о некоторых марках, как и где он их нашел. Это были происшествия, прелесть которых я лишь позже раскусил. Ими он хотел увести меня от швейцарских редкостей, надеясь, что я откажусь от задуманной мной авантюрной экспедиции и отправлюсь из кафе домой.

Но когда мы простились, я все же помчался к перекрестку перед памятником. Ведь двадцать тысяч стоили того. Конечно, если марки действительно потеряны и оцениваются такой суммой, если все это не фантазия старого человека. Разве не бывало, что мы, мальчишки, также говорили о какой-нибудь марке, будто ее не купить за одну или две кроны, а сами покупали ее в писчебумажной лавчонке за три крейцера.

Однако на перекрестке я понял, что, вряд ли смогу проверить, говорил ли старик правду. Ведь здесь по асфальту непрерывно мчались автомашины, и он блестел, словно был покрыт черным лаком. Что же тогда могло остаться от маленьких бумажек, попавших под резиновые копыта автомобилей? Но внезапно у меня возникла одна идея. Дул острый ветер, носившийся по земле, как коса. Что если он унес марки куда-нибудь, где они могли сохраниться?

Я вырвал листок из записной книжки, разорвал его на клочки и бросил их на землю в том месте, где два часа назад мне удалось спасти альбомы пана Крала. Невидимая метла ветра сразу же погнала их через улицу к самой клумбе, обрамляющей памятник великого чешского лингвиста, а там они запутались в кустиках роз, как и другой занесенный сюда мусор. Я посветил себе карманным фонариком и тростью обшарил это место. Здесь скопились трамвайные билеты, рекламные листовки, билеты в кино. Я нашел также порванный лотерейный билет и скомканное письмо. И вдруг среди этого мусора что-то заблестело, словно осколок зеркала, кусочек серебра, луч звезды. Так я нашел первый прозрачный конвертик, один из тех, в которых Крал хранил свои клады. Потом второй. Осмелев, я направился, топчя цветы, к самому подножью памятника, пределу моих надежд. Я искал страстно, как грибник.

— Это что еще такое? — перед клумбой стоял насупленный полицейский. Намерения его были ясны: он приготовился оштрафовать меня за порчу клумбы с розами. Я на минуту растерялся. Скажи я ему, что ищу здесь двадцать тысяч, он, вероятно, аресто-

вал бы меня за издевательство над властью или отправил в сумасшедший дом. К участию, мое молчание длилось недолго, мне сразу пришла в голову удачная отговорка: — Простите, ветер унес сюда мою десятку.

Человек должен знать меру. Полицейский понимающе кивнул и удалился.

А я нашел эти двадцать тысяч! Нашел. Это был прямоугольный конвертик, а в нем две соединенных воедино с общей надписью марки. Все выглядело именно так, как описал старик, точно, не верите? Я мысленно обидел его, сомневаясь вначале, действительно ли у него в альбоме имелись двадцатитысячные марки. Все потому, что он не бросился за ними не только на край света, но даже на ближайший перекресток! Я дал себе слово, что в виде наказания за свои сомнения сам отнесу ему в банк находку.

За поздним ужином я похвастался перед друзьями, что нашел сегодня на дороге двадцать тысяч. Собственно, не на дороге, а среди роз. Как я и ожидал, мое сообщение вызвало сенсацию. Но на лицах появилась ухмылка, когда вместо ожидаемой пачки банкнот я извлек из нагрудного кармана марки. Вот это?! Значит, никто из них не был филателистом. Пожалуй, впервые с той двенадцатилетней поры я почувствовал презрение к нефилателистам.

На следующий день, когда я с важностью сообщил швейцару Промыслового банка, что желаю говорить с поверенным Кралом, мне небрежно указали на лифт, который довел меня до верхнего этажа. Его канцелярия оказалась мне каким-то закутком, она находилась на самом верху и к тому же в конце коридора. Внутри все было чересчур просто для канцелярии поверенного. Здесь не было ни кожаного гарнитура, ни хрустальной люстры, даже зеркало отсутствовало. У окна стоял длинный стол, на нем большая лампа, вокруг несколько стульев, шкаф, умывальник. Не такой представлял я себе обитель солидного финансиста.

Крал сидел за столом, перед ним были разложены пачки банкнот, которые он, по-видимому, пересчитывал. Вернее, он быстро перелистывал их меж пальцев, уголок за уголком, изредка проводил ладонью по какой-нибудь из них, несколькими пошуршал возле уха, а одну даже понюхал, с интересом засмотрелся на нее и отложил в сторону. Так как я не знал, что делают обычно банковские поверенные, то решил, что застал его за самым любимым занятием банковских магнатов — подсчетом денег.

Он встретил меня хорошо, пожалуй, лучше, чем свои марки. Дескать, он не может им по-настоящему радоваться, когда думает о том, что ради них я рисковал жизнью, бросившись в водоворот этого перекрестка. Но я завоевал его расположение, он пригласил меня к себе домой, обещая напоить черным кофе, которое он, мол, варит так хорошо, как никто в Праге, а то и во всем мире.

Не могу сказать и о его квартире в старом доме на Угольном рынке, что она была достойна поверенного крупнейшего чешского банка. Она была обставлена мебелью, которую ее хозяин, казалось, ценил лишь за количество выдвижных ящичков. Старинные комоды и сундуки или более новые бельевые шкафы, в которых, как мне думалось, содержится гардероб Крала, — все было подобрано здесь только из-за множества полочек и ящичков. А на стеллажах, как в библиотеках, расположились фолианты, подобные тем, какие я помог ему поднять с земли в вечер нашего знакомства.

Свою личную жизнь он перебросил на кухню, откуда он через несколько минут принес в самом деле замечательный кофе. Великолепный вкус напитка и страсть к маркам, которой Крал заразил меня, — она была как бы поздним рецидивом детской болезни — вызвали во мне признательность к старому человеку. А так как любовь к черному кофе и коллекционерское увлечение — это не привходящие чувства, то и наша дружба стала прочной.



После посещения банка у меня не было оснований считать, что Крал пользуется каким-то особым уважением в финансовом мире. Равнодушие швейцара, когда я заявил, что пришел к Крау, канцелярия в закутке и ее обстановка, которой не стал бы кичиться и начинающий банковский служащий, да и небанковская, невыуженная внешность старенького господина — все говорило о том, что он является там лицом не очень-то почетным, а, возможно, только терпимым. Понятно, я не хотел доискиваться до причин, какое мне дело до закулисной стороны джунглей капитала. Зато какой он имел авторитет в мире филателистов!

Я узнал об этом вскоре после нашего знакомства. Ему выпадали почести, которым могли бы позавидовать любая кинозвезда, чемпион бокса или депутат парламента. Я сам наблюдал это. Крал пригласил меня на вернисаж, вернее, на предварительный просмотр

первой международной филателистической выставки в Праге. Не успел он войти в выставочный зал, как вокруг него собрался весь выставочный комитет, члены которого до этого переминались с ноги на ногу возле входа. Все они были в черном, во фраках, так как ожидали приезда покровителя выставки, министра почт и телеграфа, а также мэра города Праги.

Не знавшие этого были убеждены, что вся эта черная парадная форма, распространявшая вокруг запах нафталина, надета исключительно ради Крала. Комитетчики теснятся вокруг него, как рой черных мух, дюжины рук в белых перчатках ищут руку пожилого господина, экспоненты смиренно стоят возле своих стендов, как солдаты перед генералом, и шепчут друг другу: «Крал здесь».

Мой новый друг медленно идет по выставке в середине подвижной шпалеры людей, каждый экспонент кланяется, улыбается, краснеет, когда Крал приближается к его экспозиции, а когда он задерживается перед чьей-нибудь на минуту дольше, то ее хозяин переполняется гордостью и достоинством под завистливые взгляды конкурентов. Толстый владелец коллекции у витрины, походившей на несгораемый шкаф и охранявшейся служителем Охранного общества, человек известный в железодельной промышленности, покраснел и вспотел от волнения, когда Крал остановился у его кичливой витрины. А Крал загляделся на представленную в этой богатой коллекции сомнительную однореаловую мексиканскую марку 1861 г., розовая бумага которой вызвала его подозрения. Зато у маленького, скромного и измученного заботами человека с белой бородкой, скорее всего какого-то пенсионера, увлажнились глаза, когда Крал с признательностью коллеги кивнул удовлетворенно головой при виде его листка с марками Ватикана, не оцененного выставочным жюри.

Этот мир преклонялся перед Кралом, и он распоряжался в нем, как самодержец. Подданные читали в его глазах вынесенные им приговоры о жизни и смерти их коллекций. Под его взглядом великие становились ничтожными, а униженные были возвышены. И, однако, он ходил по выставке так, словно этот почет относился вовсе и не к нему. Позднее я узнал, что он столь же равнодушно относится не только к славе, но и ко многому другому — к деньгам, ко времени, к комфорту, ко всем условностям жизни, но только не к маркам. Я словно становился его адъютантом и переживал за него все это преклонение. Мне было лестно узнать перед уходом от барышни-кассирши, что никем, оказывается, не замеченные в этот вечер посетители выставки ее покровитель, сам министр почт и телеграфа, а также пражский мэр, подаривший комитету позолоченную дощечку с барельефом города Праги для первой премии. Ну, конечно же, что значили они в этом мире по сравнению с Кралом!

Постепенно я все больше узнавал, что представляет собой Крал в мире филателистов. То перед его домом остановится запыленный автомобиль с гостем из Берлина или Брюсселя, приехавшим для пятнадцатиминутного разговора. А то на расшатанном стуле возле его стола я, бывало, видывал посетителей, которые просили засвидетельствовать подлинность своей марки и напряженно ожидали решения Крала. Они сидели скромно, со шляпой на коленях, словно ожидая приговора решавшего судьбу всего своего имущества. Это нередко были важные персоны, промышленники, банкиры, колбасники, помещики.

Другие великие мира сего — позже я обнаружил среди них двух владычествующих князей, довольно редкое явление сегодня, и главу дома Ротшильдов, что еще похлеще, — направляли к нему своих секретарей, умоляя оценить их приобретения своим опытным глазом и лупой. Секретарь важно глядел на работу Крала, будто тот подбирал и сортировал для его повелителя жемчуг и бриллианты. А сколько приходило писем от всех международных фирм, обществ и журналов! Приходили и денежные переводы, и чеки на солидные суммы, которые Крал всегда куда-нибудь небрежно засовывал, хотя, принимая гонорары за экспертизу, приговаривал с удовольствием: «Вот и опять у меня будет кое-что на марочки!». Короче говоря, это был какой-то далай-лама, чье «да» или «нет», сказанное на

втором этаже старого дома на Угольном рынке, звучало для всех причастных к филателистской вере как изречение из священного писания.

— А почему, собственно, вы сами не выставляете свои марки? — спросил я у Краля спустя какое-то время. Я был еще под впечатлением его славы на выставке и смаковал эту славу за него.

— О, от этой лихорадки я давно избавился! Было время, когда мне казалось, что надо показать, как я расклассифицировал и обработал свои марки, и даже хотелось похвастаться! А радость признания — и ее хотелось испытать... Но потом все прошло.

Ему, как всякому истинно святому, не было свойственно тщеславие. Как-то я обратил внимание на два больших сосуда, стоявших на шкафу, решив, что они служат для варенья. Но Крал заметил мимоходом, что это первая премия с мадридской выставки. Когда он вытер их как следует, я убедился, что это пара весьма ценных северских ваз. В простой жестяной коробке валялись какие-то медали, в футляре, обитом атласом, я увидел прекрасный барельеф летящего Меркурия, работы Бурделля, премию с VII всемирной парижской выставки, а в другом — премию итальянского короля с международной выставки в Риме. Я не могу поклясться, но мне кажется, что это была копия золотой медали Бенвенуто Челлини с портретом папы Юлия VII на обороте.

— Такая красота, а вы с ними так обращаетесь!

— Не хватало бы еще коллекционировать премии! А не участвую я в выставках потому, что люблю покой. Случилось так, что я лишился хорошей должности из-за участия в выставке. Сейчас у меня работа — лучшей не пожелаешь. Хочу остаться там, где сижу...

Я начал свою карьеру сорок лет назад, в оптовой торговле текстильными изделиями. Было мне девятнадцать годков, начал вторым счетоводом с двадцатью гульденами в месяц. Само собой, я должен был еще при этом разносить товар, разъезжать и бегать в поисках заказчиков. Среди них-то я и открыл одного филателиста-энтузиаста.

Он принадлежал к немногим, которые уже тогда разбирались в марках, то есть знали о них многое, не только о том, какая им цена на рынке. В самом деле отрадно было поделиться с ним мыслями, оценить наши запасы. Мы даже сразу заключили с ним приличную сделку. Понятно, не на английские материи и даже не на гумполецкие³⁾. Я послал ему свои тетради с дублетами, он прислал свои, и мы честно обменялись несколькими десятками марок. Честно. Этот человек не прислал в обмен ничего, что пахивало дрянью. Он первый указал на каждый, даже незаметный, на первый взгляд, дефект, например на оборванный зубчик.

Как-то мой шеф спросил, может ли он доверить ему товар стоимостью в пять тысяч. Я ответил со спокойной совестью, что такому заказчику можно доверить хоть на пятьдесят тысяч. А что получилось? Честнейший человек в филателии, он обанкротился после поставки ему сукна. Через неделю у него не нашли ни одного рулона. Спрятал или продал из-под полы — одному дьяволу известно. Мой шеф потерял пять тысяч, я — свою первую должность и доверие к филателистам, одновременно торгующим мануфактурой.

Вот вам история, из которой вы вправе сделать вывод, что даже марки могут таить в себе опасность для человека. А выставки марок тем более. Вы только послушайте. Мне стукнуло тогда тридцать лет. Меня уже нельзя было считать начинающим ни в собирании марок, ни в канцелярском деле. Я вел переписку у Штарка, у самого крупного торговца семенами клевера в Чехии, а возможно, и во всей Австро-Венгрии. В моем распоряжении были барышня-стенографистка и прекрасное жалованье, двести сорок серебряных крон в месяц. Господин Штарк был страстный коллекционер, вкладывал в коллекцию всю выручку от своих семян, и в мои обязанности входило также приводить в порядок в служебные часы его альбомы с марками. Отсюда и такое редкое жалованье.

Он был немного старомодный коллекционер, но авторитетный и к тому же выдающийся знаток старых германских марок. Готовилась первая имперская выставка в Берлине, и Штарк грозился «переплюнуть» немцев своей коллекцией марок самого старого времени. Я должен был готовить для него листы и рисовать по краям цветочки, как любили

эти пожилые господа. Мне приходилось копировать их с различных календарей. Трижды в день, а иногда и по десятку раз принимался я отговаривать его, убеждая, что с германскими марками вряд ли ему повезет в Германии, ведь это все равно, что носить дрова в лес или воду в море, советовал ему послать сербские, благо у него имелась прекрасная коллекция. Говорил, что, мол, сам я не пошлю ничего, кроме образцов оплаты почтового сбора австрийскими марками вместе с итальянскими марками времен австрийской оккупации, и этого хватит для почетного признания. Он остался при своем, и все кончилось, как я предсказал. Штарк получил какой-то диплом, а я золотую медаль и затем, с разными отговорками, увольнение с работы.

Теперь я сижу более двадцати лет в Промысловом банке. Меня ценят, и после пятнадцати лет работы назначили поверенным. Вскоре после того, как я поступил, кто-то шепнул мне, что наш главный директор также страстный коллекционер. И тогда я постучал себя по лбу: Игнац, осторожно, дружище, больше никаких выставок, радость не обязательно должна быть на виду, коллекционерские уши господ шефов слишком чувствительны. Уж не хочется ли тебе снова потерять место? И прекрасное жалованье?

Сколько же мне платят? Восемь тысяч в месяц, мой друг. Так-то.

У меня как-то не укладывались в голове эта жалкая канцелярия, равнодушие швейцара — и столь высокое жалованье. Однако мне представился неожиданный случай расспросить о своем приятеле у самого руководителя Промыслового банка. Главный директор был, кстати, в хорошем настроении, ему как раз удалось у кого-то выторговать по дешевке прекрасную картину Навратила — оказывается, у него была иная коллекционерская страсть.

— Ага, вы знаете старого Крала? О, тогда я расскажу вам кое-что о нем, что Вас безусловно заинтересует. Но это должно остаться между нами. Вы, наверное, слышали, что мы в Праге первые обнаружили подделки французских стофранковых банкнот? Или в 1931 г. фальшивые пятифунтовые? Они беззаботно размножались два года в Европе и укрывались от внимания самого Английского банка! А в прошлом году блестящие подделки десятидолларовых? Я не говорю уже о наших пятисотенных и о всех меньших группах поддельных кредитных билетов, которые появлялись в различных местах за последние десять лет. Каждая поддельная бумажка, будь это самый совершенный фабрикат, должна застрять у кассы нашего банка. Именно поэтому мы держим у себя вашего друга, он призван ее изловить. Какими способами он безошибочно распознает любую подделку — никто не знает. Это его дело. Но ни одна не ускользнет от него. Он поддерживает наш престиж, он приносит нам славу в Европе. В Национальном банке для этой работы содержат совершенную дорогую лабораторию, но она не столь точна и не столь быстра, как Крал. Видите ли, я бы не хотел, чтобы они переманили его, поэтому у меня к вам просьба — держать в секрете то, что я вам сообщил.

Конечно, Кралу я рассказал, что раскрыл тайну его высокого жалованья. И добавил, что это строго секретно. Он расхохотался.

— Тогда и я сообщу вам нечто строго секретное, и вы опять-таки не должны об этом никому рассказывать, прежде всего, нашему главному директору... Мне зря платят столько денег! Ведь если человек умеет распознать подделки такой крохотной печати, какой является марка, то поддельную печать таких простынь, как банкноты, он узнает в одно мгновение. То, что удастся мне, удавалось бы любому хорошему филателисту, и ему платили бы четвертую часть. Но об этом, однако, вы доктору Прейсу не говорите!

* * *

Окна квартиры Крала выходили на Угольный рынок. Он называется Угольным и, казалось бы, должен быть серым от угольной пыли. Между тем это самая красочная пражская площадь. Ее треугольник перед старинными домами с аркадами занимает цветочный рынок, куда в течение всего года привозят цветы и ягоды из садов, лесов, лугов и рощ. Со

второго этажа он выглядит, как постоянно цветущая и переливающаяся разными тонами грядка, меняющая пестроту своих красок в зависимости от времен года. Она была настолько красочна, что когда я, отвернувшись от окна, смотрел на квартиру Крала, то как раз она-то и казалась мне черной, да, именно черной, как уголь. В действительности же она не была черной, а просто тусклой, возможно, от пыли, лежавшей на мебели, но не на томах коллекций, и мрачной из-за неуютности и беспорядка всего жилища, в котором Крал опять-таки заботился только об удобствах для своих марок.

— Женились бы, что ли, — сказал я ему как-то. — Тогда у вас было бы чисто, прибрано, и вы не питались бы в колбасных и столовках.

— А я нашел бы жену, которая разбиралась бы в этом? — и Крал показал на стеллажи и шкафы, где были расставлены его богатства.

— Хоть какую-нибудь, которой бы это не мешало.

Мы как раз допивали отличный кофе, и Крал засмотрелся на черный осадок на дне своей чашки, будто читал там что-то недоброе. Он заговорил, не поднимая глаз:

— Однажды я решил, что нашел такую. Это было уже давно. Я вел тогда переписку Штарка (мне вспомнились германские марки). Я получал уже семьдесят гульденов в месяц, был полон надежд на повышение, вообще был молодым человеком хоть куда. По крайней мере, никто не утверждал обратного... Однако я был неопытен. Да я не представлял себе, что женщина способна на все, если задумала выйти замуж.

Крал ушел на время, принялся готовить на кухне черный кофе с той торжественной деловитостью, какую способны вкладывать в это занятие только старые холостяки. Уже хотя бы только поэтому такое сословие не должно бы никогда перевестись.

— Познакомились мы случайно, — продолжал он, когда чашки стояли на свободном уголке его письменного стола. — Кто-то прислал ее ко мне, мол, я разбираюсь в марках. А она унаследовала от своего дяди, венского чиновника, кое-какое имущество и среди вещей альбом с марками. Меня просили оценить, за сколько она может его продать. Это была приличная коллекция, ведь покойник был крупным почтовым чиновником. И были в ней всякие сюрпризы. А самый большой — как вы думаете? Отгадайте! Нет, вы не отгадаете. Чистый, нештмпелеванный кварт-блок розовых Меркуриев. Да.

Разумеется, вы сначала должны знать, что такое Меркурии, кварт-блоки и, наконец, кварт-блок розовых Меркуриев, к тому же неиспользованных. Станьте же на колени и поклонитесь им — они этого заслуживают! Так знайте: Меркуриями назывались газетные марки, их наклеивали вместе с адресом, прямо на газеты или на газетные тюки. Я не хочу обижать газеты, но кто сохраняет их после прочтения? Так что наклеенные марки выбрасывались вместе с ними. Поэтому вы теперь и за десятку не сыщете, скажем, даже синюю с Меркурием, которая стоила чуть больше половины крейцера.

Розовую, стоившую 30 крейцеров, которую клеили, как известно, только на обертку больших газетных тюков, вы не найдете даже за две тысячи крон. А теперь представьте, что на меня с оставшегося в наследство альбома глядят эти четыре розовые, с головой Меркурия, прелестный полный квадратик, две и две, отчего их цена удесят�еряется, и вдобавок, заметьте себе, неиспользованные, а это означает, что ценность их настолько повышается, что они были бы приличным приданым для невесты! Богатой невесты. Не забудьте, что тогда, в начале века, тысяча равнялась сегодняшним десяти тысячам! Вот почему я это говорю. Послушайте, вот что невозможно понять: каким чудом они сохранились?! И даже всей четверкой. Из этого чуда надо вычестть то, что умерший дядюшка был советником министерства почт и телеграфов. Так или иначе, их вообще могли приобретать только газетные экспедиции для своих крупных посылок. Как же это случилось, что дядюшка поместил именно четыре в свою коллекцию, ведь другие марки он помещал в альбоме только по одной? Ведь тогда люди знали о кварт-блоках так же мало, как, скажем, о самолетах. Их еще надо было изобрести. Разве не изумительно, что какой-то таинственный голос нашептал ему, чтобы он сохранил их для вечности.

Но буду продолжать. Что сделал бы другой на моем месте? Сказал бы безразличным

тоном: «Барышня, вы унаследовали от дяди неплохую коллекцию. Пожалуй, я избавлю вас от хлопот и куплю ее у вас. Не возражаете против такой кругленькой суммы, как пятьсот крон? Это — порядочно денег, не так ли?». Возможно, она запросила бы и шестьсот.

Однако я был честен.

И еще — она понравилась мне. На мой взгляд, она была красавица. Тип королевы Капиолани, изображенной на гавайской марке 1882 г. Брюнетка с густыми, зачесанными вверх волосами, пухлые губки и красивый округлый подбородок. Я всегда любил рассматривать эту гавайскую марку. Тонкая работа для того времени. Что же, возможно, из-за этого сходства я и сказал ей — звали ее Йоганка, ей было двадцать семь лет и, право, было странно, что она уже давно не вышла замуж, — каким кладом в виде дядиного наследства она обладает. Будь у меня такой клад, добавил я еще, я не расстался бы с ним. По-видимому, я сказал это каким-то особым голосом, потому что она посмотрела на меня так, словно эти слова относились лично к ней, и покраснела. «Нет, я бы его также не продала, этот кварт-блок», — откликнулась она. Она проговорила твердо «этот кварт-блок», хотя наверняка услышала эти слова минуту тому назад первый раз в жизни. Но она сказала именно так, и этим подкупила меня.



Потом она приходила ко мне еще два раза за советом о других вещах из наследства, пока не пригласила меня однажды на вечерний кофе к тете, у которой она жила. Мы пили кофе с молоком и кексом. Потом я стал навещать Йоганку каждое воскресенье в послеобеденное время, и мы всегда пили кофе с молоком и ели кекс. У тети были ревматические ноги, и она не покидала кухню. Вот так мы и сидели всегда одни. После кофе Йоганка открывала бельевой шкаф, приносила дядин альбом и слушала мои рассказы о марках, как маленький ребенок слушает сказки. В конце мы всегда открывали страницу с кварт-блоком розовых Меркуриев и любовались им. Он сиял новизной, как будто его никогда не касалась человеческая рука и он был помещен на эту страницу каким-то духом. Недалеко от этой четверки были и другие ее сестры, редкие головы Меркуриев синего и желтого цветов, но кварт-блок сиял меж ними, как сияет роза, как сияет солнце.

Кто знает, может быть, в этом был виноват солнечный закат, но как-то так получилось, что когда, наверное уже в десятый раз, мы склонились над марками, голова Йоганки очутилась на моем плече, а я слегка склонил голову к ее черным кудрям, и мы впервые поцеловались.

Пожилой господин помолчал, а я в тишине вспоминал, не помню какую по счету, песню Данте, где рассказывается о возлюбленных, губы которых, как сводня, соединила страница книги, над которой склонились их головы. И тогда настиг их супруг... Я сказал об этом Кралу.

— Нет, тетя никогда не выходила из кухни. Так я стал женихом. И тогда я уже не мог наслаждаться каждое воскресенье дядиным кварт-блоком, я уже должен был ходить с Йоганкой в Замковый сад, в Фесловку и в Заповедник, повсюду, откуда путь вечером домой длился долго и был уединенным. А потом начались серьезные заботы по поводу квартиры и обстановки. У Йоганки было на книжке две тысячи, у меня также накопилось несколько сотен, все могло пойти своим чередом. Если бы она не вбила себе в голову, что одна из двух комнат, которые мы хотели снять, должна предназначаться для исключительных гостей, в ней должна находиться резная мебель, с креслами и диваном, обитыми красным плюшем, как полагается для салона. Это не выходило у нее из головы, она постоянно бредила этим, и я был рад, когда она сообщила мне однажды, что купила уже мебель, значит, мы могли начать разговаривать о чем-то другом. Кажется, о кухне и фарфоре.

У нас уже состоялась помолвка, когда в какое-то из воскресений начался дождь и, к моей радости, мы остались дома за кофе. Ведь я уже соскучился по кварт-блоку и поспешил взять альбом в бельевом шкафу. Открываю его — но кварт-блока там не оказалось. На его месте осталась только полоска из двух розовых марок, и было видно, как их снизу, близко и случайно отстригли от их соседа.

— Знаешь, Игнац, — сообщила она мне, — мебель для салона стоила восемнадцать сотен. И когда я от тебя узнала, как дороги эти марки, я отстригла две, только две, и отнесла их господину Шкоде в Старом пассаже. Он торговался, но я все же из него выкачала эти восемнадцать сотенок. А остальные две марки, дружок, я сохранила для тебя, как свадебный подарок. Они твои.

Я печально посмотрел на оставшуюся пару. Трудно было спорить, Йоганка продала вторую пару за очень приличную цену. А эта, оставшаяся, хотя у нее и был немного узкий нижний край была все же неплохим свадебным подарком. И все же я не радовался ему. Бесконечная жалость охватила меня. Какая гармония уничтожена, — подумал я, — какой чудесный квадрат превращен в нескладный прямоугольник. В мире словно исчезла одна из его неповторимых красот, ведь этот кварт-блок был единственным и последним на целом свете. Меня ужаснула мысль, что нежные женские руки были в состоянии так запросто чикнуть ножницами и бездумно изменить картину мира, отняв у него навсегда нечто большое. Я испугался. Ведь это были как раз спокойные руки Йоганки.

Да, сударь, у меня появилось такое ощущение, будто она глубоко врезалась ножницами в мое сердце и расплосовала его на две половины. Но это личное чувство пришло лишь после первого ужаса, когда мне показалось, что рушится часть света. И сразу мелькнула у меня новая мысль: как же тогда она станет обращаться со мной, если она была столь бесцеремонна с нежным квадратиком? И есть ли у нее чувство к чему-либо, требующему уважения и деликатности, если она могла уничтожить ради вульгарной красной плюшевой мебели такую лучезарную безмолвную драгоценность? Я подумал даже, что в глубине души она ненавидит марки, если способна идти на них с ножницами, и что весь ее интерес и терпеливое внимание к моим рассказам о них были притворством, просто ей надо было любым путем завлечь меня. Еще хорошо, что она вовремя открылась мне в истинном свете, иначе хлебнули бы мы горя, я и они...

При слове «они» Крал пробежал глазами по всем шкафам, вещевым и бельевым, по стеллажам, уменьшавшим размеры его комнаты так, что пространства оставалось лишь

для одного человека.

— Помню, я взял тогда шляпу и зонтик — да, я уже тогда носил с собой всегда зонтик — и ушел. А потом... потом я написал ей письмо. Не знаю, поняла ли она, почему я не женился на ней. Вскоре после этого Штарк послал меня в продолжительную коммерческую поездку, а позднее я стал обходить улицу, где она жила. Ну вот, так было покончено с моей женитьбой, без шума, с этой и с будущими, если бы они когда-нибудь угрожали мне. Я получил серьезный урок.

— А у нее как сложилась жизнь?

— Через полгода она вышла замуж и прислала мне извещение о свадьбе. Ее муж был торговцем писчебумажными принадлежностями. Позднее они начали и марками торговать. Это, видно, ей по сердцу. Ведь известно, что торговцы марками ненавидят марки.



Хайдарабад — воздушная почта

Вот моя последняя новинка.

Господин Крал показал мне большой нарядный конверт с наклеенными на нем марками. Из-под легких почтовых штемпелей светились напечатанные золотом очертания самолета и изящные восточные буквы.

— Хайдарабад — воздушная почта, — пояснил Крал. — Отличный вклад в коллекцию Хайдарабада. Надпечатка на марках — чистое червонное золото. Настоящая редкость и роскошь. Золото должны были наносить ручным способом. Что же, на десяти экземплярах это можно сделать! Нравятся?

— Красивые. Как они к вам попали? — любопытствовал я. Пути, какими Крал иногда приобретал свои марки, были удивительными.

— Письмо шло воздушной почтой до Калькутты, а оттуда британской индийской почтой прямо ко мне домой. Это также необычно, ведь марки этих маленьких индийских княжеств имеют хождение не дальше их границ. На письма, посылаемые за границу, надо наклеивать марки индийской почты. Что касается этого письма, то для него сделали исключение. А самое удивительное состоит в том, что таких марок выпущено всего десять штук. И вот, представляете, через год вы натываетесь в каталогах на следующее: Хайдарабад, первая воздушная почта: 1, 3, 5 анн, 2, 4 рупии. Тираж 10 экземпляров. В частном владении. Владельцы: английский, испанский, итальянский короли, Рокфеллер — он основал у них там институт для исследования причины чумы — и, наконец, Игнац Крал,

филателист, Прага. Это что-нибудь да значит!

— Я все еще жду ответа: как вам удалось заполучить такую трижды редкостную вещь?

— Она прислана мне махараджей из Хайдарабада. Он отпраздновал юбилей и разослал таким образом написанные им письма.

— Махараджа? Мне хочется взглянуть на его письмо, если это не секрет какой-нибудь.

— Какой там секрет! Черт подери, куда же я его сунул? — и Крал принялся искать письмо на своем рабочем столе, где были свалены груды журналов, писем, оставшихся без ответа, лупы для изучения марок, пинцет, пока, наконец, не извлек откуда-то солидный картонный лист. Одна его сторона уже была небрежно исписана какими-то цифрами, скорее всего, номерами марок. — Фу, нашел, наконец! Я ведь сегодня уже держал его в руках.

Письмо начиналось несколькими строками, напоминающими причудливую вышивку. Этот образ невольно приходит на ум, когда смотришь на письменность народов Востока. Под

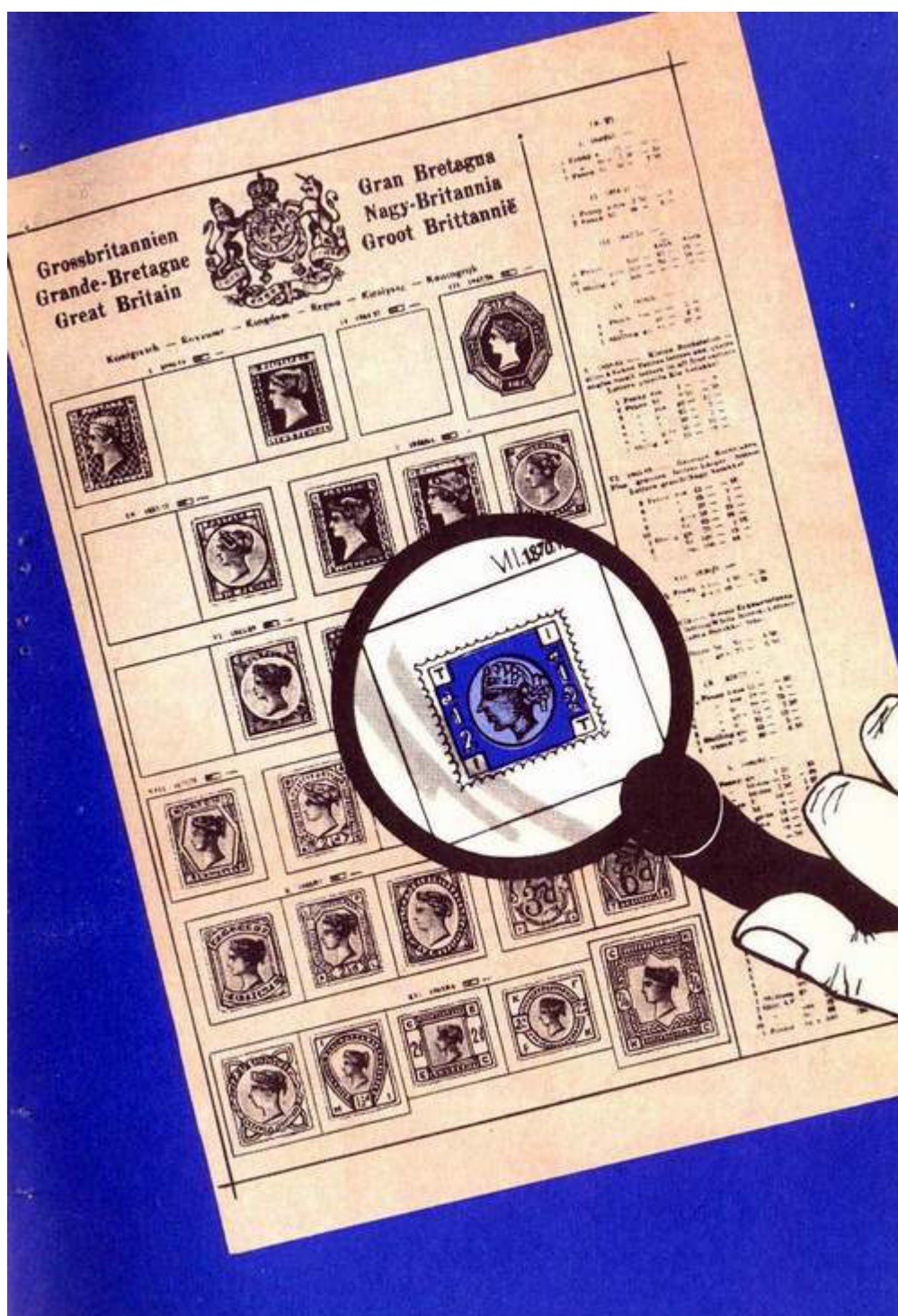
ними большими, тщательно выведенными буквами, словно над этим трудился ученик вечернего коммерческого училища, было написано по-английски:

— *«Дорогой друг!*

На этих днях я праздную четверть века правления на троне моих предков. В такой момент я вспоминаю Вас, потому что никто иной, как Вы, двадцать пять лет назад спасли для меня трон, а мою страну и мой народ уберегли от ада страданий и мук. Я раздумывал, как лучше отблагодарить Вас. Но если бы я предложил Вам даже свой наивысший орден Золотого паланкина, а с ним меч с эфесом из бирюзы и ножнами из слоновой кости, то и этим ничего не было бы сказано о глубине моей благодарности, потому что по политическим причинам я должен был присвоить этот орден уже двадцати трем лицам. И вот я принял решение послать Вам письмо, которое доставит самолет, только что подаренный мне его Величеством королем Великобритании. Для доставки письма индийское почтовое управление дало согласие на такую льготу, которая для последующих почтовых отправок не будет повторяться. И золотые надпечатки также никогда не будут делаться. Итак, Вы станете владельцем редкости, которую, кроме Вас, получают еще только девять адресатов, список которых Вам прилагает мой секретарь.

Ваш Трибхубана Бар Бикрам Янг Бахадур, Махараджа Хайдарабадский. P. S. Будьте так добры, пришлите мне чехословацкие марки за последнюю четверть года. У вас их слишком часто меняют!»

С полминуты разглядывал я с каким-то особым уважением низенького и слегка обтрепанного господина Крала, для которого ничего не значила честь быть награжденным орденом Золотого паланкина, да еще вдобавок к этому мечом с бирюзовым эфесом и ножнами из слоновой кости.



— О, небо! — воскликнул я, как в провинциальном театре, и засыпал Краля множеством вопросов: — Как все это понимать? Какому махарадже вы спасли трон? А народ его как могли спасти? Вы были в Индии?! Почему же вы никогда не рассказывали мне об этом?

Крал замахал руками:

— Успокойтесь. Не так уж страшно все это было. Я -никогда не бывал в Индии. Просто мы обменивались с махараджей марками. Поэтому-то у меня и накопилась такая хорошая коллекция индийской почты, комплектный Хайдарабад и Афганистан. Меня даже из-за этого некоторые коллеги считают филателистическим чудачком... А я не стыжусь этой экзотики. Получил же я первую премию за свою коллекцию Бхопала на пражской выставке в 1911 г. Там каждая марка на листе отличается чем-нибудь от другой. Туземные литографы обладают слишком большой фантазией и не могут повторить без изменений

один и тот же рисунок на камне.

— Пожалуйста, оставьте сейчас в покое другие марки, — взмолился я, прервав Кра-ла. — Я ведь жду не дождусь рассказа об этом приключении со спасенным царством ма-хараджи. Сейчас это интересует меня больше, чем все ваши коллекции.

Крал слегка возмущенно и с заметным сожалением посмотрел на меня. Так встреча-ет священник человека, сообщившего ему, что он атеист. Однако, в конце концов, мне все же удалось выведать у него всю историю до подробностей.

— Когда я был на последнем курсе коммерческой академии (это я так изложил не-связное повествование Крала), то прочитал в одном английском филателистическом жур-нале объявление, что какой-то Янг Бахадур из Хайдарабада в Индии желал бы обмени-ваться марками. Разумеется, я тогда коллекционировал все, что находил. Так вот, я послал ему пачку хороших австрийских марок. Прошло примерно два месяца, и я получил от него в ответ порядочную пригоршню разных восточных марок и письмо с просьбой обме-ниваться дальше. Письмо было написано корявым детским почерком, на плохом англий-ском языке. Чувствовалось, что писал его ученик, что, впрочем, было сразу заметно и по маркам — грязным, измятым, небрежно содранным с писем и даже кое-где порванным. Но среди них все же попадалось несколько хороших экземпляров, выпущенных в этих ма-леньких княжествах, там, на Востоке. Не забывайте, что в те времена каждый филателист был как бы апостолом своего увлечения. Поэтому я снова послал парню австрийские мар-ки, а с ними — письмо. Я напомнил ему, что марки — это вещь нежная, и он должен со-ответственно обращаться с ними. Я объяснил ему, как их наклеивать и отклеивать, и дал ему еще кое-какие практические советы. Меня не беспокоило, что я плохо, по-школьному писал по-английски. Парень ведь писал также плохо.

Мальчик вежливо и с признательностью поблагодарил меня и на этот раз прислал марки уже более сохранившиеся. Вот так мы переписывались и обменивались марками около пяти лет. Янг Бахадур писал все мельче, все лучше и на лучшей бумаге и присылал мне все более ценный ассортимент марок. Было заметно, что он начинает разбираться в них.

Пока, вот как раз двадцать пять лет назад, я внезапно не получил от него известия совершенно другого рода. О марках в нем не было ни слова. Янг Бахадур извещал меня, что умер его отец и теперь он станет махараджей в Хайдарабаде. (Нечего и говорить, что я был потрясен — так вот с кем, оказывается, я обменивался марками!) Дальше он писал, что, восходя на престол, ставит себе задачу освободить Индию от английского ига. Он восстанет против угнетателей и надеется, что поднимет на восстание всю угнетенную Ин-дию. И вот здесь-то он обращается ко мне с большущей просьбой. Для войны понадобится много денег. Поэтому он хотел бы продать свое коронационное жемчужное ожерелье, со-державшее триста жемчужин, самых прекрасных жемчужин Индии. Оно принадлежит се-мье уже более двухсот лет, но каждый государь надевает его только один раз, при корона-ции, и каждый добавляет к нему новую горсть жемчужин. Последний ювелир, из белых, державший его в руках, оценил его в 10 миллионов фунтов стерлингов. Он пошлет мне это ожерелье со своим доверенным лицом. Я должен продать вещь примерно за эту цену, а на вырученные деньги закупить пушки и амунисию и организовать их доставку к ин-дийскому побережью. Там уже сторонники освобождения Индии позаботятся о дальней-шем. Что, мол, он полностью доверяет мне, больше, чем кому бы то ни было в мире. Ведь пять лет назад, когда он был девятилетним мальчиком, я также доверился ему, и единст-венный из тысяч читателей, прочитавших его объявление в английском фи-лателистическом ежемесячнике, послал ему на обмен марки. На этот раз он впервые под-писывался: Трибхубана Бар Бик-рам Янг Бахадур, Махараджа Хайдарабадский.

Вы, конечно, понимаете, сударь, что у меня закружилась голова от этого письма. И не без причины. Парень, которому я писал неучтивые филателистические проповеди, ока-зался индийским махараджей! Больше того, он намерен послать мне жемчуг стоимостью в десять миллионов фунтов! Я, получавший тогда восемьдесят крон в месяц, должен осуще-

свить денежную транзакцию десятиmillionного (имейте в виду, в фунтах) ожерелья на пушки и шрапнель, о которых я не имел ни малейшего представления, не знал даже, как они выглядят! Обратите внимание, я, не больше чем хороший писарь, удостоен доверия короля, который будет воевать с Великобританией! Если бы я вздумал отсчитать себе честные, скромные, самые незначительные комиссионные за это, то стал бы одним из крупных богачей в Праге. И наш директор будет снимать, увидев меня, шляпу, когда узнает, что я — самый солидный заказчик Крупна или, черт его знает, кто тогда производил эти пушки!

И все же, мой друг, когда кто-нибудь коллекционирует марки с шести лет, он приучается, прежде всего, рассудительно мыслить, упорядочивать все. Собираение марок приучает к степенности, и я могу сказать, что уже тогда — сколько же это было мне? да около двадцати трех, наверно! — я был для своих двадцати трех лет благоразумным человеком.



Возможно, кто-нибудь другой встретил бы предложение махараджи иначе, чем я. А мне и в голову не пришло, что мне представляется возможность попользоваться какой-нибудь из этих жемчужин, что я мог заработать громадные деньги при этой сделке. Прежде всего, я сказал себе, что было бы отвратительно провести этого мальчугана, лишив его прекрасной коллекции драгоценностей, пусть речь идет лишь о жемчуге, и я обязан позаботиться, чтобы парнишку не надул кто-то другой. Вот это и называется коллекционерской совестью, и, заметьте себе, не у каждого она имеется.

Я представлял себе этого мальчика кофейного цвета, в белом тюрбане, как он сидит где-нибудь в углу своего дворца, играет с неограниченными рубинами и изумрудами или поглаживает прирученного леопарда и обучает его приносить расшитые золотом и алмазами домашние туфли. И такой беспомощный мальчик задумал начать войну против самой большой державы в мире! Я снова и снова продумывал это и, наконец, решил: четырнадцатилетний индийский принц, возможно, уже не ребенок, каким бы он был, если бы рос в нашем климате, и, возможно, что он не играет уже в кубики из изумруда и топазов, а у него уже усики, полдюжины жен, какие-то дети, армия баядерок и охота на тигров — и

все же он не отличается от всех четырнадцатилетних мальчишек во всем мире. Вот и мои школьные товарищи, прочитав какие-нибудь книжки о Робинзоне или об индейцах, собирались сбежать на необитаемый остров или в американские прерии, но только не я. Уже тогда я вооружился против этих идей — и все благодаря своей, воспитывающей порядок страсти к маркам. И у мальчишки на троне это также не что другое, как жажда приключений, доказывающая, что он еще не настоящий филателист.

Решив отговорить его от этой сумасшедшей идеи, я написал ему письмо не как королю, а как обыкновенному гимназисту четвертого класса, как мальчишке, так, чтобы он сумел понять меня своим четырнадцатилетним умом.

Я начал с того, что борьба против Великобритании — безумие. Пусть он хорошенько рассмотрит марки в своем альбоме и увидит, как Британия на самом деле велика. Своими колониями она утвердилась во всех частях света и вдобавок на бесчисленных островах. Писал, что у меня 76 страниц ее марок, и, по правде сказать, они мало интересуют меня, потому что обыкновенный коллекционер сразу тонет в их огромном количестве. Я не знаю, сколькими странами Британия представлена в его коллекции, но ручаюсь, что если она не составляет существенной части его альбома, то он собирал очень нерадиво. И, главное, пусть он не надеется, предпринимая этот шаг на остальную Индию. Мы знаем туземных правителей, заботливо защищающих свое право издавать собственные марки. Но он хорошо знает, что многие из них уже отказались от этого права. В конце концов, он потерпит неудачу, Англия победит, и в Индии будет меньше на одно государство, имевшее до сих пор свои интересные марки, их заменит индийская почта своими будничными марками с физиономией правителей Великобритании.

Так я писал. Вы меня поняли? Но послушайте, чем все это кончилось.

Прошло немного времени, и я получаю от парня разумное письмо. Что, мол, никакой другой совет, даже самых старейших советников отца, также пробовавших отговорить его от задуманного намерения, столь сильно не убедил его, как именно мой. Он согласен со мной, и я — самый мудрый человек в мире. А затем он попросил меня посмотреть пробные оттиски марок с его портретом, который он решил по этому случаю издать. Гравировал их для него индийский гравер Абдул Ганг, и они отметят новую эру в мире индийской туземной почты.

Я, конечно, сунул эти оттиски в свою коллекцию, одобрил и похвалил его решение.

Смотрите, вот они, эти марки. Он выглядит на них ребенком. Я ошибался, когда думал, что у него уже усы и баядерки. Видно, я был ближе к истине, когда представлял его себе играющим в кубики из ониксов и сердоликов. А на шее, взгляните, что у него на шее. То самое коронационное ожерелье из красивейших жемчугов в мире, и стоят они не меньше десяти миллионов фунтов стерлингов!

Ну, вот я поведал вам все. Собственно, этот парень только внушает себе, что я явился для них каким-то спасителем. Но думаю, что, вероятно, он правит не глупо. Видите ли, когда он в то время вместо того, чтобы со своими подданными совершить самоубийство, начав войну против Британии, издал марку со своим портретом, меня взяла оторопь. Ну, думаю, филателист на троне, боже храни коллекционеров! Вот, будут теперь выпускать в Хайдарабаде каждую минуту новую марку! А на самом деле этого не произошло. Никаких новых изданий, никаких спекуляций, никаких надпечаток и благотворительных или юбилейных серий. Вот только эта, авиационная. Не скажите, и на троне филателист остается филателистом.

А теперь дайте-ка сюда это письмо. Там, на обороте, я набросал себе, сколько у меня отсутствует марок старой Дании.



* * *

Этот рассказ Крала имеет уже тридцатилетнюю давность. А сама история произошла еще на двадцать пять лет раньше. Значит, давненько все это было, да и вообще все сказочные истории повествуют о былом, а не о нашем времени. Крал рассказывал ее немного элегическим голосом, как положено рассказывать о событиях молодости, к которым нельзя больше ничего прибавить. Мне думается, что я при его повествовании восхищался больше всего тем — а он именно поэтому рассказал мне свою историю, — как он мелочью, простой чисто филателистической притчей спас тогда индийскому князю его владеньице, а Индию предохранил от кровопролития...

Но только... Сегодня ко всему этому придется кое-что добавить. Тридцать и двадцать пять лет прошло. Перевернем страницы истории этих пятидесяти с лишним лет и откроем книгу судеб, толстую филателистическую хронику, например каталог почтовых марок Зенфа на текущий год. Найдем в нем раздел «Индия». Просмотрим его. Что же мы с вами увидим? Что увидел бы господин Крал? А то, что сегодня нет уже в Индии марок с головами британских властителей! Нет и загадочных экзотических марочек разных туземных княжеств. Значит, мы, согласно всеведущему и непогрешимому каталогу, делаем вывод: теперь Индия издает для себя собственные марки, потому что она избавилась от бри-

танской почты и владычества, она свободна. Она демократизировалась и отняла у бывших королей и махараджей их особую привилегию печатать марки.

Итак, сегодня выходит, господин Крал, что вы дали этому парню неправильный совет. То, что он тогда хотел попытаться сделать, исполнилось на полвека позднее. Индия свободна. Случилось и то, от чего вы хотели его уберечь: он потерял свое сказочное царство и право издавать марки.

А жаль. Если бы вы предоставили ему действовать, как он хотел, он мог бы играть сегодня в индийской истории блестящую роль борца за свободу. Сегодня молодого Трибхубана Бар Бикрама Янга Бахадура изображали бы на индийских марках как легендарного героя. Нет, свободы своей страны он бы не дождался. Такой молодой сумасброд, наверное, пал бы во время своей отчаянной попытки. Но он остался бы в памяти и на марках, а так — кто знает о нем, кроме горсточки филателистов, собирающих классические марки? А подумайте о другом: если бы уже тогда британцы испытали настоящее сопротивление в Индии, то это, скорее всего, принудило бы их убраться оттуда пораньше, и Индия получила бы свободу на десяток лет раньше.

Согласитесь, господин Крал, что каждый день свободы хорош, а тем более десяток лет! Не так ли?

Разумеется, что господин Крал согласился бы с этим, хотя и пожал бы плечами. Это означало бы: я знаю, но как я мог тогда посоветовать мальчику другое? Ведь ни один филателист не любит войн, они производят всегда хаос в марках. Порядочный филателист желает мира и только мира, когда в издании марок царит относительный порядок, когда коллекционеры всего мира общаются друг с другом и обмениваются марками.



Очищено снаружи и внутри

Не пасьянс раскладывал Крал, и не карты лежали аккуратными рядками на его столе. Это просто так выглядело, когда он раскладывал письма. Края писем уже пожелтели, как старая слоновая кость, и порядком истлели. Он сличал их с какими-то заметками в своей записной книжке и говорил:

— В будущем месяце в Женеве состоится большой аукцион марок. Вот я решил послать туда и свою долю, надо же запастись средствами для покупки марок в новом году...

Я рассчитываю, что они вызовут сенсацию. Это довольно увесистый пакетик. Вы увидите по маркам старый австро-венгерский способ оплаты почтового сбора. Коллекция того времени, когда Австрия воевала с Италией и Данией. Надо сказать, что после мировой войны коллекционеры заинтересовались полевой почтой. Я посылаю в Женеву еще кое-какие старые марки. Далее, экземпляры смешанной оплаты сбора ломбардийско-венцианскими марками, — вы узнаете по ним военную судьбу Италии, до освобождения, — и марками маленьких итальянских государств, которые незадолго до 1850 г. были оккупированы Австрией. И, наконец, экземпляры с оплатой сбора австрийскими марками, причем из Майнца — черт побери, вот это когда-то было государство, эта Австро-Венгрия! Посылаю и другие редкости. А потом я еще выбрал для аукциона немые штемпеля. И на них в мире имеется спрос.

Крал принялся выравнять в стопочку письма, на которых марки были погашены различными кругами, звездами, решетками, зубчатыми и мельничными колесами вместо положенных круглых официальных печатей с обозначением места и даты.

— Сотни людей, — продолжал говорить Крал, — страстно рыскают по свету в по-

искал именно этих марок и этих штемпелей. Конечно же, Крал имеет такие великолепные и вечно свежие запасы, что может прибавить к пакету еще немало редкостей. Для каждого заинтересованного в аукционном пакете найдется приманка, на которую он клюнет. Я уже ясно вижу, как ринутся на эти марки коллекционеры, как захотят перещеголять друг друга в цене! Пожалуй, я получу порядочную сумму. Человек должен быть психологом, мой друг.

— В данном случае хорошим коммерсантом, а психологом — об этом спорить не станем, — вставил я, но, вспомнив, что в банке его недооценивают из-за недостаточного коммерческого таланта, я решил ему, однако, немного польстить. — Но коммерсант вы знаменитый.

— Я — коммерсант?! — воскликнул Крал с нескрываемым презрением. Не знаю, было ли оно направлено против коммерсантов или против своих собственных качеств. — Будь я коммерсантом, я обладал бы кое-чем посolidнее, нежели коллекция марок. Вот коммерсант, с которым мы одновременно начинали собирать марки, — тот действительно был настоящим коммерсантом. Он учился со мной в первом классе гимназии и звали его Гуго Шварц. Отец его торговал хлебом и кожами в Будейовицах. Когда мы, мальчишки, обменивались с Гуго, то всегда несли убытки. Он постоянно обводил нас вокруг пальца. Его папаша — единственный из всех папаш наших мальчишек — помогал ему собирать марки, снабжал его марками из какого-то неизвестного источника, который мы, остальные, тщетно разыскивали. «Парень учится таким манером торговать», — говаривал старый Шварц. И он не ошибся. Позднее парень бросил марки, быстро продвинулся, стал, наконец, директором какого-то банка и в качестве административного советника заседает не менее чем в тридцати местах. А я? Нет, я никогда не был коммерсантом. Но психологом я был с рождения.

И Крал обвел глазами шкафы с марками, стоявшими вокруг по всей комнате.

— Вот оно, мое имущество, накопленное за шестьдесят лет. Его основание я заложил в десять лет. Вот, посмотрю я на него так и спрашиваю себя, имеет ли моя коллекция — а она, безусловно, одна из наиболее интересных в Европе — вообще какую-нибудь ценность? Она ценна опять-таки для какого-нибудь энтузиаста. В коллекционировании марок самым ценным является страсть, с которой мы их разыскиваем. Не деньги, а моя жизнь в этих марках. А ведь она не представляет ни для кого никакой ценности, кроме меня.

Вот эта коллекция Шварца, о которой я говорил, думаете, она была какой-нибудь особенной? Да нет же. Куча обмусоленных марок без уголков и с поврежденными зубцами. Но в наших мальчишеских глазах это были, конечно, большие редкости. Для мальчишки не существует деталей. Нас ошеломляли марки с Багамских островов, Гренады, Квисленда, с диадемой на красивой женской головке, Соединенных Штатов с целой галереей портретов, Саравак с раджей-европейцем, гавайские, с надписями: Элуа Кенета, Анахи Кенета, Зоно Кенета. Эти таинственные надписи мы, мальчишки, считали благозвучными тропическими именами королей и королев (на самом деле это были обозначения денежных достоинств: пять, десять и т. п.), слова: Барбадос, Бхопал, Невис, Фаридкот — звучали как будто какие-то колдовские заклинания, открывающие далекие моря и континенты. Марки были для нас как бы входным билетом туда. Я завидовал Шварцу с его альбомом, словно обладателю мира, и я отдал бы ему за него все свои запасы. О ценностях в собственной коллекции я долгое время даже не подозревал.

— А что же это было?

— Вот это и подобное этому, — Крал показал на посылку, подготовленную им для Женева. — Это — образец запасов, которые я накопил еще мальчишкой. Хотите выслушать один жизненный совет? Не тратьте сотни, а то и тысячи на покупку трехфениговых саксонских, однокрейцеровых баварских, на Макленбург, на самый старый Шлезвиг-Гольштейн, не входите в долги, не стремитесь закупать для своей коллекции Меркуриев, кварт-блоки, полоски, андреевские кресты первых австрийских марок и нечто подобное!

У меня столько запасено всего этого, что после моей смерти они наполовину упадут в цене, а возможно, и до одной трети. Вас, наверно, интересует, как я поступлю со своими коллекциями? Я завещаю их Национальному музею, а так как там в марках не разбираются, то выбросят дублиеты на рынок. Увидите, как полетят вниз цены, и даже на такие редкости, о которых твердят, что их несколько штук в мире.

— Сегодня вы разговорились. И я с нетерпением жду еще одного: откройте мне секрет, где и как вы раздобыли свои первые сокровища?

— Что же, открою с удовольствием. Папаша мой был в Будейовицах — как бы мне получше выразиться? — ну тряпичником, что ли, только более высокой марки. Сам он называл себя старьевщиком. Старьевщик — это уже нечто повыше, а у отца, бедняги, всю жизнь было страстное желание кем-то стать... Хотя бы оптовым торговцем ветошью или возчиком. Он скупал старый лом для металлургических заводов, битые бутылки для стекольных и подобный хлам. Мы были очень бедны. Жили на Пражской улице в старом одноэтажном домике, в Будейовицах, как я уже говорил. Имелись у нас кухня и одна комната да маленький дворик и сарай, куда отец свозил старье. Бедняга возил его на тачке, таскал в корзине на спине и только изредка, когда доставал железный лом, нанимал повозку. Неприбыльная это была, должно быть, торговля.

Но мне, мальчишке, жилось неплохо. Сколько среди этого хлама попадалось винтиков, старых скоб, старых замков — это и были мои игрушки. Когда я, как почти все ученики, занялся коллекционированием, — был я тогда во втором или третьем классе гимназии, отцу очень уж хотелось, чтобы хотя бы из меня вышел толк, — то обменивал марки на скобы, с которыми мы бегали на остров копать ямки и прудики.

Отец скупал и старый бумажный хлам для бумажной фабрики. Однажды ему удалось закупить громадную гору старой бумаги из княжеских шварценбергских канцелярий. Зарабатывал он при ее продаже двадцать крейцеров за центнер. Здесь были свалены кипы старых документов, перевязанные веревкой, и я развязывал и снимал эти веревки для отца, чтобы он мог и их продать. Но в большинстве это были беспорядочно скомканные вороха бумаги, счетов, деловой переписки, сваленные на чердаках и в подвалах княжеских учреждений, куда они, вероятно, попадали по истечению какого-то срока. Отец сгружал бумагу в сарай или прямо во дворе, а когда у него накапливалось ее порядком, свозил на бумажную фабрику возле Влтавы.

Иногда, помогая отцу, я замечал на конвертах марки. Рассматривая их, я стал постепенно выискивать такие, оклеенные марками бумаги. Я даже начал фантазировать, что, вот, однажды буду так рыться и наткнусь на какие-нибудь мексиканские или китайские марки. Тогда будет у меня для мальчишек в обмен нечто другое, нежели старые скобы и подковные гвозди.

Отец допоздна обходил деревни, продавая свой хлам, и я мог свободно целый день рыться в его запасах. Я выгребал старые письма — листы бумаги, сложенные вчетверо: униженные просьбы, длиннющие счета, заказы, газеты, разные официальные бумаги. Всего этого было предостаточно, но я был разочарован. В двух фурах, которые отец привез из Крумлова, где накопились бумаги центральной канцелярии шварценбергских имений и предприятий, не удалось мне отыскать ни одной марки даже из Австралии, Канады или Америки.

Здесь были австрийские и венгерские марки или марки из маленьких германских государств, где, по-видимому, Шварценберги имели свои учреждения и имения. Что ж, раз не было ничего другого, я отбирал такие конверты и документы с марками и уносил их в заветное место на чердак. Там давно стоял пустой старый сундук, вот в него-то я их складывал до поры до времени. Когда-нибудь, размышляя я, я аккуратно сниму с них марки и начну обменивать, «шахермахерничать», как мы говорили. Хотя бы с учениками первого класса. На обмен со Шварцем я не мог отважиться, тот требовал иностранных.

Отец не должен был знать о моей возне на чердаке над кучей макулатуры. Особенно, когда я заметил, что мой сундук начинает переполняться, а это означало, что я стащил у

отца чуть ли не полцента бумаги. Это равнялось десяти крейцерам, целое небольшое богатство для отца. Поэтому я поднимался на чердак в полумраке, отбирал кое-какие конверты и, попросив у матери горячей воды, отклеивал с них марки.

(И нас, мальчишек, нельзя было обвинить в варварстве. Мы наклеивали марки в свои альбомы, которые мы изготовляли из школьных тетрадок, не всей оборотной стороной, а только верхним краешком!)

Ну, вот, так у меня образовались кое-какие запасы, и мне даже иногда удавалось надуть какого-нибудь начинающего. Но даже за двадцать ломбардских марок Шварц не желал обменять ни одной трехугольной с мыса Доброй Надежды. Он спросил однажды насмешливо, нет ли у меня саксонской тройки. Я вспомнил свой сундук и стал подумывать, уж не найду ли я там действительно эту марку, тогда мне достанется редкостный и такой желанный «Мыс». Но случай преподнес другое. В пятницу я показал Шварцу русскую марку в три с половиной рубля, которую я выманил у одного парня с Четырех Дворцов. Вдруг Шварц вырвал ее у меня. Для того чтобы не драться с ним и при этом не помять эту русскую довольно редкую марку, я конфисковал у него школьный ранец.

Дома я осмотрел ранец, нет ли в нем марок, которыми я смог бы возместить убыток. Но вместо марок нашел два номера немецкого филателистического журнала. Это был неплохой журнал, в нем были заметки, изображения марок, а главное — цветные образцы марок, такие красивые, что хоть сейчас вырезай и обменивайся с кем-нибудь. Текст я понимал. Будейовицы были тогда еще немецко-чешскими, но беднота, а мы принадлежали к ней, была там только чешской национальности, хотя мы и обязаны были посещать немецкие школы. Я прежде всего прочитал большое объявление о том, что издатель журнала заплатит десять германских марок за каждую саксонскую тройку. Тут я понял, почему Шварцу хотелось заполучить ее от меня. Хотя мы имели дело только с почтовыми марками, но я уже знал, что те десять германских марок означают деньги, и когда я осторожно расспросил отца, то узнал, что это большие деньги. Понятно, я записал себе адрес издателя — это были братья Зенф в Лейпциге. А русскую марку в три с половиной рубля я продал Шварцу, когда возвращал ему ранец, за восемь крейцеров.

В воскресенье я начал поиски саксонской тройки. Уже через час я нашел их целых три на бандероли каких-то саксонских дворцовых газет. Одна тройка была загрязнена жирным штемпелем, а две очень чистые и неразрезанные были наклеены на рождественский номер газеты. На кухне я отклеил их, марки аккуратно отрезал друг от друга, а в понедельник, на уроке естествознания, написал под партой письмо господину Зенфу. За восемь крейцеров, вырученных у Шварца, я послал письмо с одной саксонской тройкой. Написал, что не требую за них денег (потому что знал, что отец отнял бы их у меня и купил бы мне на них платье или башмаки), а хочу получить побольше американских марок. Предлагал прислать ему еще одну, которую я отстриг от этой, сообщал, что у меня имеется еще одна такая марка, с немного более жирными следами штемпеля, и, наконец, обещал найти еще какие-нибудь.

Через неделю я получил из Лейпцига ответ заказным письмом. Большой конверт был полон американских марок, безупречных, как новенькие, марки были стоимостью от одного до многих центов и сентаво. К ним было приложено письмо. Меня спрашивали, доволен ли я и на самом ли деле я отстриг друг от друга, как писал, две объединенные саксонские тройки? Быть этого не может! Ведь это грешно! И добавляли, что если имеются еще другие, то чтобы я присылал, даже если они не безукоризненны.

Во второй раз я послал ему ту, не совсем красивую марку, но получил в обмен такой же пакет, даже чуть побольше. Я оказался настолько разумным, что попросил, чтобы мне также прислали журнал, который многому научил меня. Например, я узнал, что такое каталог или что четыре баварские единички в одном блоке означают четыре неразрезанные марки, и в таком случае они стоят намного дороже, чем четыре отдельных. Вообще журнал давал мне много различных необходимых сведений. Так что вскоре моя коллекция начинала перерастать мальчишескую. Если бы я не боялся отца и выписал себе один из тех

альбомов для среднего коллекционера, о которых объявлялось в журнале, я заполнил бы такой альбом. Тогда я мог это сделать, в восьмидесятых годах, а Зенфу я смог послать несколько неповрежденных баденских марок, которые из-за хрупкой бумаги очень ломки.

Мне захотелось похвастаться Шварцу своими переполненными тетрадями, коллекцией сына бедного тряпичника. И тут произошло необычное. Он из гонора сразу перестал интересоваться марками и начал помогать отцу торговать с крестьянами в его предприятии. Значит, я косвенно как бы помог ему сделать карьеру!

А со мной как было дальше? Однажды, в воскресный вечер, отец спросил у меня, имеет ли моя коллекция, над которой я как раз сидел, какую-нибудь ценность. Я быстро мысленно подсчитал, сколько саксонских троек, блоков и баварских полосок, сколько прусских, любекских и мекленбургских марок я послал Зенфу, и сообщил отцу самую низкую стоимость: «Этак, тысячи полторы, а возможно, и две».

Вот тут отец схватил меня, перегнул через колено и выпорол ремнем, сколько влезло. Отец не выносил, когда я лгал. Ведь за такие деньги можно было у нас тогда купить целое хозяйство или завести приличный извоз с двумя парами лошадей! Извоз, хотя бы с одной лошадей, был жизненным идеалом моего отца, а я, мальчишка, бросаюсь такими суммами, да еще ссылаюсь на использованные марки!

И все же какой-нибудь год спустя я на вырученные от марок деньги осуществил его мечту. Вот я и ответил на ваш вопрос: как я начинал, это конец рассказа.

— Про Зенфа вы только начали и не закончили.

— Тогда у вас будет еще один конец. В жизни все не так, как в рассказах. Добавьте еще кусок жизни — и сразу у вас будет новый конец для вашего рассказа. И так вы добавляете и добавляете, пока не подойдете к настоящему, последнему концу. Так и с рассказом о Зенфе.

Он все больше и больше втягивал меня своими письмами в филателию. Чтобы удовлетворять его требования, мне пришлось узнать, что такое штемпеля и какова их ценность, что значат марки на конверте, блоки, зубцовка, андреевские кресты и тому подобные вещи, о которых и взрослый филателист знал тогда немного, не то что такой парнишка из Будейовиц, как я. Постепенно я понял, что у меня на чердаке сущие сокровища, хотя тогда я еще и понятия не имел о том, как будут когда-нибудь расцениваться австрийские шестикрейцеровые и двухкрейцеровые марки в парах из середины листа или марки с печатью с обеих сторон с токайской просечкой, или меркурий, гербовые марки, использованные как почтовые, или по-разному наклеенные одиночные марки, например, одна на другой, а то и с другого конца (последним увлекался один венгерский почтмейстер), каким спросом будут пользоваться старинные штемпеля всех форм и цветов и вообще подобные редкости. Впрочем, даже господин Зенф не интересовался тогда ими, а поэтому те запасы остались у меня с того времени почти нетронутыми.

Переписываясь, я довольно хорошо познакомился с господином Зенфом. «Уважаемый господин», — обращался он ко мне, а подписывал письма: «С коллекционерским приветом».

В его письмах все чаще и чаще прорывалось любопытство и желание увидеть мои запасы собственными глазами. Он писал, что ему хотелось бы встретиться со мной, посмотреть вместе мои запасы и вообще заключить солидную сделку. Но меня все это не радовало. Я боялся отца. Во-первых, я стащил у него бумаги крейцеров на двадцать. А он подбирал каждую бумажку на улице. Во-вторых, обмен, а не продажа марок выглядел в глазах отца мотовством, и я получил бы, наверно, страшную порку. И тот же Зенф мог бы рассказать отцу о моих проделках.

Я увиливал. Мол, не очень это удобно приезжать ко мне. И тут я однажды нахожу в своем сундуке конверты германских государств, обклеенные марками Северо-германского почтового союза, — сегодня-то я понимаю, какая это была редкостная комбинация, — и я не удержался. Написал ему. Он немедленно ответил, что даже почте нельзя доверить такие ценности, и назначил день своего приезда пражским скорым поездом. Он сообщал,

что едет в Вену, так что остановка в Будейовицах не будет ему в тягость.

Но каково было мне!

Я растерялся, ломал голову, как устроить эту встречу. Если я приведу такого богача, издателя журнала и владельца громадного множества марок к нам в комнату, то что скажет мать? А ко всему, если и отец случайно окажется дома?

Наступил день тревожного визита. Я на всякий случай набил карманы приготовленными конвертами и пошел на вокзал, навстречу господину Зенфу. Я хотел даже надеть ботинки, но мама не разрешила. Ведь это был будничным день. Я двинулся на вокзал босиком. И в половине двенадцатого в Будейовицы в самом деле прибыл единственный иностранец, глядя на которого трудно было не сообразить, что это именно и есть мой гость. У него была густая рыжеватая борода, был он толстоват, коротконог, в трикотажной рубашке, на голове охотничья шляпка с кисточкой. В руках у него был небольшой чемоданчик и демисезонное пальто. Он с любопытством рассматривал вокзал. Я приблизился к нему. К счастью, он сразу же подозвал меня, поручил нести чемоданчик и попросил проводить его. Разумеется, я очень охотно взял вещи и повел его. Он попросил отвести его на Пражскую, 28. Теперь у меня не оставалось сомнений, что это Зенф и движется он ко мне. Мне казалось странным, как может он расспрашивать меня о школе, растут ли в будейовицких лесах грибы, имеется ли в реке рыба, т. е. о таких вещах, о каких расспрашивает каждый приезжий. Ведь я представлял себе, что Зенф ни о чем, кроме марок, не говорит.

Прежде чем мы добрались до нашего дома, Зенф все же остановил меня другим вопросом:

— Здесь живет некий господин Крал, он коллекционирует марки. Вы, случайно, не знаете его?

— Это я и есть, — негромко ответил я ему.

Господин Зенф смерил меня, главным образом мои босые ноги, удивленным взглядом. Он произнес только:

— Извините, господин, — и протянул руку, намереваясь взять у меня свой чемоданчик и пальто.

Само собой, я продолжал и дальше нести его вещи, признавшись ему, что не могу привести его домой, потому что у нас тесно, а главное отец не одобряет моего коллекционерства. Я предложил ему пойти куда-нибудь в другое место.

Тогда господин Зенф предложил направиться в какой-нибудь ресторан, на кружку будейовицкого пива. Но это вовсе невозможно. А вдруг меня там увидит кто-либо из наших преподавателей, а то и классный руководитель? В конце концов, я повел его за марианские казармы. Там лежали бревна, на которых мы, мальчишки, обыкновенно сживали и обменивались марками.

Когда я заметил, что и мы с ним могли бы здесь посидеть, он сначала слегка задумался, а потом решительно разложил на бревнах свое пальто и уселся на него. Так мы начали обмен. Вряд ли кто-либо из фирмы «Братья Зенф», по крайней мере после детских лет, заключал так торговые сделки. На улице, на бревнах!

И, возможно, много лет спустя господин Зенф изредка вспоминал с улыбкой, как он сидел на бревнах за казармами, рядом с босым мальчуганом, своим солидным поставщиком, и обменивался марками. У него засияли глаза, когда я разложил перед ним все, что принес в карманах. В эти минуты он напоминал ученика первого класса, когда я показывал ему какую-нибудь египетскую марку с пирамидами... Это было то, о чем мой гость мечтал: прусские, саксонские, ольденбургские почтовые конверты уже с напечатанными марками, но переклеенные после 1868 г. марками Северо-германского почтового союза. Какие-то фантазеры неистово коллекционировали их тогда и платили за них, как одурелые, сколько бы ни потребовали. Между тем я уже тогда сказал себе, что не стану собирать цельные вещи, они требуют страшно много места в комнате. Господин Зенф брал их благоговейно в руки, осматривал со всех сторон на свету, едва не влез под наклеенные марки, пытаясь разглядеть те, которые они прикрывали, даже нашептывал что-то вроде:

«Ах вы, мои золотые марочки!» или нечто подобное. А потом он открыл свой чемоданчик и принялся извлекать оттуда тетрадки с тонкими страницами, и тогда наступила очередь сиять моим глазам.



Не думайте, я уже знал, что Зенф продает конверты со смешанной франкировкой за десятки и за сотни крон, и не дал себя провести. Сейчас мне кажется, что я тогда приобрел большое преимущество перед ним тем, что посадил его на бревна. Я тогда осмелел, словно со мной рядом сидел какой-нибудь парень, вроде Шварца. А его опять-таки эти бревна, возможно, подавляли. Может быть, ему казалось, что он отброшен назад, в свои детские годы. Так мы сидели бок о бок, как равные, один поносил марки другого и расхваливал свои, оба мы торговались и запрашивали цены, жульничали, одним словом, «шахермахерничали», как мальчишки. При этом я общипал Зенфа, добыв у него много прекрасных, сегодня классических марок всех континентов и заполнил в своем альбоме не одно пустовавшее оконце. Если считать, что конверты со смешанной франкировкой были лишь минутным модным товаром, то Зенф немного заработал на босом пареньке. Скорее наоборот. Да нет, коммерческого духа я лишен, но я психолог. Разве не был я уже тогда хорошим психологом? Посадил же я на бревна за казармами самого крупного торговца марками!

— А встречались вы еще позже?

— Нет, личных встреч не было. Возможно, что он боялся повторения такой встречи на бревнах. Но относился он ко мне всегда неплохо. Когда я попросил его, четыре года спустя, продать зеленую баденскую девятку, которую я нашел на письме княжеского шварценбергского лесничества в Эттенгейме, он взялся за это очень внимательно и добыл за нее у Феррари порядочную сумму — восемь тысяч марок. Это пошло на папин извоз с двумя парами лошадей, дало мне средства закончить учебу и еще осталось немало на марки.

Крал снова принялся осматривать конверты, подготовленные для отправки в Швейцарию.

— Теперь я вижу, что вам было легко заниматься коллекционированием, раз у вас на чердаке в самом начале было целое сокровище Али-Бабы.

— самого сокровища было бы мало. Просто я приобрел нюх на марки. Я начал подмечать отличия и интересные детали уже с мальчишеских лет. То, что другие обнаружили лишь двадцать лет спустя.

Собственно, Зенф заполучил от меня только банальные вещи. Каталогный товар. Тогда никто не доискивался тонкостей. И, таким образом, у меня, следовательно, осталось в сундуке все, что может доставить радость как раз очень стреляному и избалованному коллекционеру. Когда я попал в Прагу, которая, казалось бы, должна была подействовать на молодого провинциального студента как поездка за границу, я сразу же почувствовал себя словно дома. Все потому, что у меня были с собой марки. Я не нуждался в обществе, развлечениях, товарищах. Все это было со мной в сундуке. У меня постоянно была возможность наблюдать, классифицировать, делать открытия. Когда я иногда решаюсь расстаться пусть лишь с малой долей своих сокровищ, как сейчас, то чувствую себя так, будто отрезаю у себя палец. Я лишаюсь чего-то, что знаю в совершенстве как ничто другое в мире.

Взгляните сюда. Вот это, например, я знал уже сорок лет назад, но филателистический мир узнал об этом лишь теперь. На первый взгляд, это три совершенно одинаковых способа оплаты почтового сбора. Каждый раз на письмо наклеивали ломбардско-венецианскую марку, да, ломбардско-венецианскую с номиналом в 10 центезими вместе с маркой Папской области—за три байокко 1852 г. Штемпель на них из Феррары, которая была тогда оккупирована австрийской армией. Вы, конечно, никакой разницы между этими тремя конвертами не замечаете. Посмотрите-ка внимательно! Уже один смешанный способ оплаты делает этот первый конверт очень редкой и ценной штукой. А второе письмо? Смотрите, та же десятицентезимовая ломбардская марка, в той же смешанной комбинации, но — довольно совершенная подделка, с помощью которой провели австрийскую почту, и письмо было без возражения отправлено. Это — разновидность подделки денег, которую почта не раскрыла. Теперь понятно, почему этот конверт стоит вдвое больше, чем первый? Я знаю одного коллекционера в Голландии, который, как одержимый, будет стараться заполучить эту редкость и на аукционе примется неустанно повышать ставки на мою посылку. Ведь это редкость первого порядка. А на третьем конверте — снова подделанная ломбардская рядом с подлинной папской. Интереснее всего здесь штемпель. Из-за него захочет перещеголять голландца один испанский граф и будет, как сумасшедший, набавлять цену! Взгляните!

Я взял второе и третье письма и стал осматривать их. Что я мог узнать по штемпелям? Один — от января 1852 г., другой — от марта. Оба из Феррары. Второе письмо в нескольких местах проколото. Рассматривая его, я увидел внезапно, к своему удивлению, что оно не распечатано. Оно было заклеено почти семьдесят лет назад, когда его отправили. И первое письмо также.

— Вы воображаете, господин Крал, что в совершенстве знаете свою коллекцию. А ведь эти два письма даже не распечатаны! И вы не знаете, что в них.

Крал рассмеялся.

— Что в них может быть? Они адресованы в Кдыню, недалеко от Домажлиц. В них не могут быть вложены чистые марки для ответа. Тогда еще не было такой привычки, и потом, главное, эти марки можно было употреблять для писем из Италии в Австрию, а не наоборот. Вот я и накрыл вас снова, как неграмотного!

— Но что содержат эти письма?

— Ну, что могут содержать подобные письма?

— Можно их открыть?

Крал слегка заколебался, потом сказал:

— Открывайте.

Я осторожно развернул первый сложенный желтый листок, адресованный

«Благородному и глубокоуважаемому государю, господину Йозефу Фердинанду Шимаку, старшему канцеляристу в имениях Его Светлости Князя Камилла Шварценберга

маку, старшему канцеляристу в имениях Его Светлости Князя Камилла Шварценберга в Кдыне близ Домажлиц/Таус».



Все было написано поблекшими уже чернилами, каллиграфически, с устаревшей орфографией, а именно «j» вместо «у», «w» вместо «v» и «au» вместо «ou». Письмо гласило:

«Глубокоуважаемый и любимый отец,

Бог знает сколько раз прошу я Вас умерить, наконец, гнев на своего сына и проявить ко мне свою отцовскую милость. Пятый год моей военной службы подходит к концу после многих страданий и тяжелых испытаний. И до сих пор я не услышал от Вас ни слова. В чем же я провинился? Разве было нечто преступное в том, что я полюбил Альжбету и решил честно взять ее в жены, когда выяснилось, что она станет матерью? Да, она служанка. Но Вы сами не могли отрицать, что в ней побольше благородства, чем в иной барышне из зажиточной семьи. И Вы, любимый отец, чтобы помешать честному браку, сами сорвали меня с учебы и сделали так, чтобы меня призвали на военную службу, а мою невесту и новорожденную дочь ввергли в нужду, о чем я узнаю из сообщений о них. Несмотря на то, что я постоянно прошу Вас помочь им, Вы даже мешком картошки не поделились с ними зимой. Любимый отец, если Вы не можете подавить в себе ненависти ко мне, то хотя бы позаботьтесь о той, которая является моей женой перед Богом, раз она, из-за Вашего несогласия, не смогла стать ею перед людьми. А также о моей бедной доченьке, которая, как мне по просьбе Альжбеты сообщает наш достойный приходский священник, растет красивой и добродетельной девочкой. И здесь, вдали, я не позорю Вашего имени. Как я узнал, меня собираются повесить в чине на ефрейтора. Если Вы выразите желание, то я и в дальнейшем останусь за границей и не явлюсь Вам на глаза, но прошу Вас, Бога ради, позаботьтесь о моих дорогих, страдающих почти под Вашими окнами, не дайте этим невинным душам уме-

реть. Я надеюсь, что это письмо застанет Вас в добром здравии, о чем я ежедневно молю Бога, когда вспоминаю Вас и покойную маменьку, и подписываюсь как Ваши

*недостойный и униженно целующий отцовскую руку
сын Леопольд Шимак»*

— Роман, — вырвалось у меня, когда я дочитал письмо. — Но в вашем сундуке Вас не интересуют романы. А что содержится во втором письме?

Я открыл второе письмо, проколотое насквозь в нескольких местах иглой. Оно также было адресовано черствому канцеляристу Его Светлости в Кдыне, который никогда не распечатывал письма своего сына и выбрасывал их вместе с ненужными бумагами.

Письмо было короткое.

«Глубокоуважаемый господин канцелярист! Согласно последней просьбе Вашего сына Леопольда, сообщаю Вам, что он скончался от холеры, которая здесь страшно буйствует, четвертого марта. Ваш сын похоронен в общей могиле № 4 на военном кладбище в Ферраре. С почтением...»

Подпись была еще менее разборчива, чем письмо, написанное непривычной рукой.

— Какой внезапный и печальный конец романа, — огорчился я. — Да, я и забыл, вас ведь не интересует это.

— Что-нибудь сообщают о холере? — живо спросил Крал.

— Ага, значит, вы все же кое-что знаете о несчастном сыне?

— О холере я узнал по штемпелю. А на письме, которое вы держите, рядом с папской маркой снова поддельная десятицентезимовая ломбардская! Возможно, что наши солдаты покупали их у одного и того же продувного торгаша. Вот что самое ценное в этом письме — особый штемпель. Это — холерный штемпель. Он означает, что письмо, отправленное из Феррары, зараженной холерой, было на почте обкурено. Оно и проколото поэтому. Так тогда дезинфицировали. Штемпель подтверждает это: *Netta fuori e dentro*. Очищено, дескать, внутри и снаружи.

Крал помолчал, а потом протянул мне оба письма.

— Мне не хотелось распечатывать их. Они так замечательно выглядели, именно в нетронутном состоянии. Подлинно филателистически. Знаете, я передумал и не пошлю их на аукцион. Хотя какой-нибудь энтузиаст и подбросил бы за них тысячку, но по-чешски он все равно не понимает, и этот роман пропадет зря. А вы, если захотите, сможете когда-нибудь использовать это и что-нибудь написать... Я продам их вам, идет? А чтобы я на этой сделке не прогорел, дайте-ка мне по кроне за каждое письмо. Мне-то ведь они ничего не стоили.



Чемодан с заморскими

Господину редактору Гиршу под елку.

(Редактор Э. Гирш, исключительный знаток марок, покинул мир в 1956 г., когда филателия переставала быть наукой и приключением.)

Так, вы начали собирать также и заморские марки? И говорите, что Зубак подарил вам сигарную коробку, полную марок, а Гирш набил ими для Вас даже коробку из-под ботинок? Тогда подождите, молодой человек, я подарю вам целый чемодан заморских марок! Как рождественский подарок.

Крал не стал открывать свои шкафы, тянувшиеся по стенам его комнаты и хранившие его коллекции. Он пошел (а за ним двинулся и я) на кухню. Кухня была, собственно, единственным жилым помещением в его квартире. Там он спал, готовил себе завтрак и ужин, одевался и брился, одним словом, делал все, что порядочные люди называют жизнью. На кухне он открыл узкую дверь кладовки, где у него хранилось все, что угодно, только не запасы продовольствия. Он отставил и отбросил несколько ящиков и коробок и поставил на кухонный стол большую полотняную сумку, выкрашенную коричневой глянцевой краской, так что она производила впечатление кожаной.

— Держите, все они теперь ваши, эти заморские. Можете их забирать домой!

Я раскрыл сумку и убедился, что она доверху наполнена мелкими листочками марок.

Какой это дивный вид, такая взрыхленная куча марок, их зубчатые уголки протискиваются на поверхность. Слово рыбешки проталкивают свои головы на поверхность воды. То одна, то другая марка уже всплыла на гладь, словно для того, чтобы показать всю свою обнаженную красоту, если только она не повернулась своей белой хрупкой спинкой. Человек не устоит и потревожит это хаотическое скопление, запустит в него руку, конечно, нежно, будто ищет в клевере четырехлистники. От прямоугольничков

нежно, будто ищет в клевере четырехлистники. От прямоугольничков зарябило в глазах, при каждом прикосновении они то появлялись, то исчезали, как стекляшки в калейдоскопе или как в стремительном фильме. Менялись краски и картины. Чередовались различные знаки, толпы голов, зверинцы хищников, множество надписей, фигур, карт, сцен, городов, символов, растений. Так пронеслись передо мной все оттенки всех цветов радуги, да и такие, каких в радуге никто не встречал, от нечетких и туманных красок севера до жгучих и опьяняющих красок тропиков.

Передо мной сплелись материки, империи, острова, побережья, мысы, горы, пустыни, и всякий раз, когда я запускал в этот водоворот руку, у меня возникало ощущение, будто я копаюсь в нашей планете, в ее морях, лесах, степях, в городах, в пустынях и в снегах полюсов. Вернее, только в мягкой воздушной пене планеты, которая была сбита со всей ее поверхности в эти четырехугольнички, в их зубчатые кружева. Я испытал неповторимое блаженство, какое испытывал бы, наверное, каждый филателист, очутившись перед таким количеством марок со всего света, но при одном условии: если бы он не страдал филателистическим атеросклерозом, задушившим в нем великолепное чувство детского восприятия марочного коллекционирования.

— Не копайтесь сейчас в этом. Дома разберетесь. Я было совсем забыл, что у меня имеется это барахлишко, с радостью избавляюсь от него. — Крал помолчал, а потом добавил каким-то странно жалобным извиняющимся голосом: — Ведь они напоминают мне, что я был, собственно, причиной того, что Югославия потеряла Риеку.

— Что-о?!

— Да, это правда. Я лишил Югославию Риеки. Но давайте не будем об этом. Смотрите-ка, какие у меня интересные французские штемпеля...

Таким маневром Крал обычно пытался ускользнуть, едва надкусив, если можно так выразиться, приключение, вращавшееся вокруг его марок. А сегодня он был даже чуть-чуть прибит, и мне казалось, что я делаю ему больно, возвращаясь к тому, на что он намянул, а именно, что он лишил Югославию Риеки. Крал — и Риека?..

— Вы ведь уже хорошо знаете, что это останется между нами, если здесь нечто тайное. Как же все-таки это произошло?

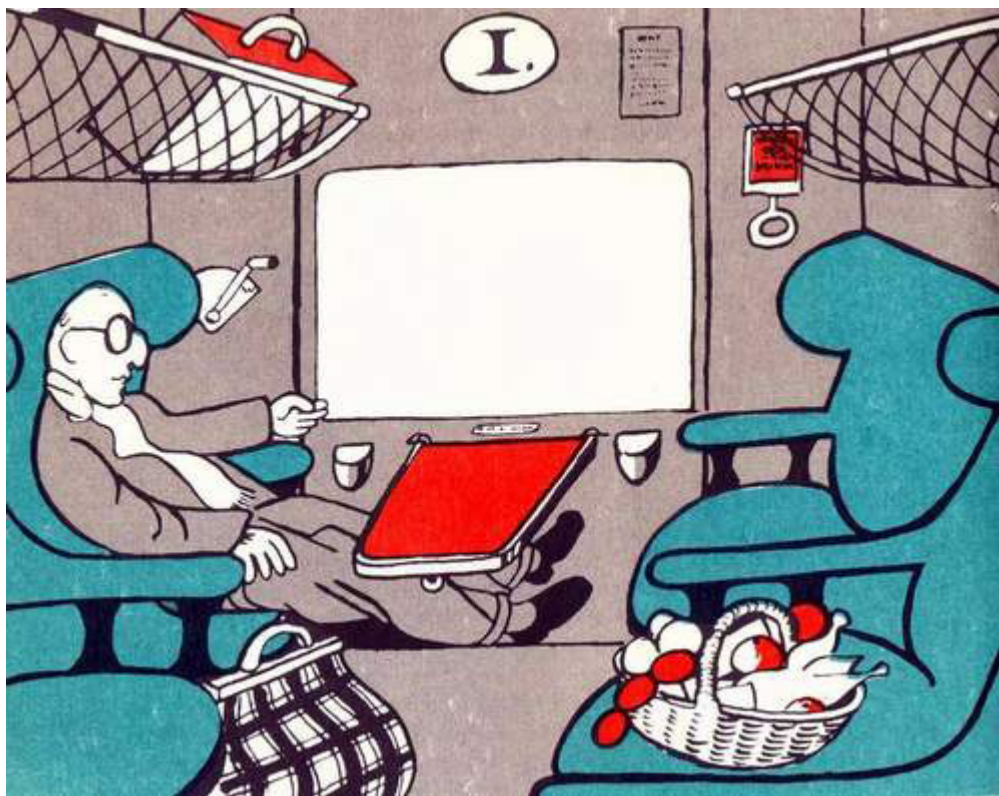
Крал долго молчал. Он словно решал трудную задачу — рассказывать ли мне об этом. Потом он начал вот с этого вступительного слова:

— Вы ведь тоже помните, что творилось, когда кончилась мировая война 1914—1918 гг.? Какой хаос существовал с новыми границами? Каждое государство, принадлежавшее к стану победителей, стремилось захватить побольше территории побежденного противника. И еще хуже было, если имелись два победивших государства рядом. Они ссорились между собой из-за каждого такого куска. Именно так и было между Югославией и Италией. Правда, все выглядело так, что до войны у них не дойдет, но и мира между ними не было. А в конце августа девятнадцатого года, — видно было, что Крал уже включился в рассказ полностью, — наш белградский посол телеграфировал в Прагу. Ссылаясь на просьбу югославского правительства, он требовал немедленно прислать в Белград лучшего филателиста нашей республики.

— И вас сразу послали туда?

— Куда там! Сначала послали какого-то чиновника из министерства почт, понимавшего лишь, как марки печатают, перфорируют, покрывают клеем, наконец, как для них размешивают краски. Через неделю он возвратился с письмом, в котором сообщалось, что эксперт по печатанию их не устроил, и, по-прежнему, требуется лучший филателист, коллекционер. Тут-то наше министерство иностранных дел обратилось в филателистические общества и к клубам. Через два дня к заместителю министра явилось двенадцать господ, выделенных двенадцатью нашими обществами в качестве, якобы, лучших филателистов республики. Это напоминало выборы королевы красоты. Не стесняясь заместителя министра, они принялись пререкаться и упрекать друг друга, напоминая, когда кто осрамился, не распознав подделку, которую заметил бы даже четырнадцатилетний мальчишка. Тогда этот господин из министерства отправил их

этот господин из министерства отправил их восвояси. Он был в отчаянии, пока его слуга — он собирает все, как вы, все, что ему попадет под руку, — не направил его ко мне. Так я получил билет первого класса, кое-какие деньги на расходы, письма, документы и наставление о том, как важна моя поездка. И вот я отправился.



В Белграде я явился к нашему послу. Он угостил меня черным кофе и дал переводчика, который отвез меня в какое-то военное управление. Там меня уже поджидало с полдюжины офицеров, усевшихся вокруг стола. Старые и молодые, у всех куча орденов, и больше всего у одного однорукого, видимо, генерала. Конечно, угостили черным кофе, предложили отличные сигареты, а потом, с помощью переводчика, объяснили, что от меня требуется.

По Югославии разъезжает какой-то агент с граммофонными пластинками, фамилия его Сарока. Он выдает себя за коллекционера марок. По крайней мере, из каждого пункта, где он останавливается, Сарока посылает в Вену, всегда по одному и тому же адресу, марки для обмена. Все это словно обычное дело, но он показался им чем-то подозрительным, они дали на просмотр его невинную филателистскую корреспонденцию, показали ее местным знатокам, и подозрения усилились. Да лучше всего мне самому все это посмотреть, и они протянули мне фотокопии писем Сароки, напечатанных на машинке. Оригиналы они, мол, пока-что, как и раньше, посылают по правильному адресу. Я выбрал одну из копий и прочел: «Спасибо Вам за прекрасные марки Папской области. В обмен направляю Вам приложенные марки. Надеюсь, они удовлетворят Вас». Потом я просмотрел фотокопии марок Сароки и убедился, что Сарока посылает в Вену новозеландскую 1901 г. с номиналом в полтора пенни, довольно загрязненную штемпелем, и розовую Трансвааль 1895 г. с достоинством в один пенс.

— Он не прогадал, этот Сарока, — заявил я сразу офицерам. — За Папскую область посылает такую дрянь, которую продают в конвертах по двадцать пять штук за крону!

— Это мы уже сами знаем. От наших филателистов, — сказал однорукий генерал. — Но взгляните-ка на другие.

И другие ничем не отличались. Какие-то самые обыкновенные Колумбии, Гаити, Доминики. И их обменивал этот счастливчик Сарока на Гамбург, Саксонию, Бремен!

— У него там в Вене какой-то дурак, — говорил я.

— И это нам наши филателисты тоже уже сказали, — откликнулся генерал. — Но им думается, что в этом обмене не все чисто. Этим они только подтвердили наше подозрение, что марки Сароки — это шифр. Понятно, что только по одному подозрению мы не можем его арестовать. Вы ведь понимаете, как бы откликнулась на это Европа. Поэтому мы и ищем. Эксперты обратили наше внимание на то, что существуют каталоги марок и что ключ к шифру, быть может, можно было бы найти в номерах, под которыми значатся марки Сароки в определенном каталоге. Я телеграфировал в Женеву, затребовал всевозможные каталоги, самолет доставил мне их две дюжины, немецких, английских и не знаю еще каких. Но нам не удалось установить никакой связи. Впрочем, мы уже сами думали, что это был бы чересчур простой способ передачи информации для матерых шпионов. Эксперты считали зубчики, пробовали, не сделаны ли надписи на марках особым способом, с помощью химических средств, — нигде ничего. Мы очутились, таким образом, в безвыходном положении. Поэтому-то мы и решили заполучить лучшего филателиста из Праги и начать поиски заново. Итак, уважаемый господин филателист, что же означают эти марки Сароки?

У меня было нелегкое положение. Не начни генерал сам с этого, я тоже посоветовал бы начать с каталогов и химии. В этот момент ничего лучшего не приходило мне в голову. В самом деле, у меня было скверное положение. Ведь я должен был как никак представлять здесь и не опозорить доброе имя нашей филателии, а вот не знал, что делать.

Я снова склонился над фотокопией первого письма этого Сароки. Она была очень четкая, словно оригинал. Что же он это посылал? Загрязненную новозеландскую и вот этот Трансвааль. Что могло заключаться в них особенного? На новозеландской, по-моему, ничего такого особенного нет. А впрочем, погодите... Я припомнил водяные знаки. Да, эта серия имеет множество комбинаций водяных знаков, и в Баден-Бадене есть один специалист, у которого хорошая коллекция таких марок. В 1909 г. он получил за них бронзовую медаль на выставке в Монако. Этот водяной знак был однообразный. Если мне память не изменяет, там были буквы NZ и звездочка. Что мог связывать с этим шпион? Теперь о Трансваале. Эта марка имеет свою особенность. Знаете какую? А хотите еще собирать заморские марки! Вы и не представляете, сколько они имеют своих тонкостей. Знаете ли вы, по крайней мере, что изображено на этой марке? Овальный знак со знаменами, сверху какие-то фигурки, а внизу миниатюрная бурская повозка. И по этой повозке, которая на марке меньше блошки, мы различаем два типа этих марок. На одном повозка имеет одно дышло, а на другом — два, и каждое тоньше блошинных ножек! Если бы марка и фотокопия были лучше, я смог бы различить, к какому типу принадлежит марка. Я не мог отделаться от мысли об этой бурской повозке, известной крытой повозке старых голландских эмигрантов, которую тянет медлительная упряжка волов по южно-африканской кафрской пустыне. И эта повозка внезапно, неизвестно почему, напомнила мне повозки военных обозов, также крытых брезентом, какие мы во время войны видели тысячи.

— Нет ли, — говорю генералу, — там, откуда посланы эти марки, какого-нибудь военного обоза?

Один из офицеров посмотрел в списки.

— Да, там имеются военные склады. Вы узнали об этом по маркам?

У меня мелькнула мысль, что на этой загрязненной новозеландской марке почтовый штемпель, оказываясь, прикрывает крошечную гравюру военного лагеря с постами и палатками.

— А нет ли там также военного лагеря?

— Конечно, там имеется летний лагерь. Но как, черт побери, вам это удастся...

— Ничего особенного. Ведь этот ваш Сарока заставляет просто говорить картинки на марках. Они и рассказывают, что искать в местах, откуда он посылает в Вену свои письма. Вот на этих двух марках военный лагерь и повозки. А на этой уругвайской пятерке в знаке крошечная лошадка, полагаю, что здесь речь идет о кавалерии. Но что-

нибудь не крупное.

— Да, там эскадрон кавалерии.

— Вот и на этой двойке Гватемалы 1902 г. довольно большой памятник всадника.

Письмо послано из Митровицы.

— Там как раз кавалерийский полк.

Короче говоря, этот Сарока чертовски облегчил себе дело. Таким способом переписываются мальчишки или возлюбленные.

— Это настолько просто, что не могло прийти в голову кому-нибудь из генерального штаба, — проронил генерал.

А теперь уже весь штаб принялся наперегонки расшифровывать послания Сароки. Они сразу догадывались, что большие или маленькие флаги на Перу или Колумбии означают большие или меньшие части пехоты, пушки под пальмой на марке Гаити — полевую артиллерию, и генерал расшифровал, что известная красивая двойка Соединенных Штатов означает главное командование, потому что на ней изображен Колумб со своим штабом.

— Собственно, никакого труда не стоило решить эту загадку, — сказал он, наконец, упустив из виду, что это же самое было уже сказано по поводу яйца Колумба. — Пошлите по телеграфу ордер об аресте Сароки, — приказал он адъютанту. — А вам, брат чех, спасибо. Вы получите за вашу консультацию отличный орден, вероятно орден святого Саввы.

Я почувствовал — этим он дает мне понять, что моя миссия окончена. Но не тут-то было! Я ведь тоже воевал с четырнадцатого по восемнадцатый годы. Правда, не в рядах армии, у меня одна лопатка немного выше другой, я просидел к тому времени уже пятнадцать лет за письменным столом. И филателия не является спортом, выравнивающим спину. Нет, мы, оставшиеся дома, воевали по-своему и в больших масштабах, мы вкалывали в карту булавки на всех фронтах. У меня еще была и своя цель — так я узнавал, откуда доставать штемпеля полевой почты. Вы, само собой, не знаете, какие трудности сегодня у коллекционера со штемпелями франко-германской войны 1871 г. Поэтому на сей раз я своевременно завел точный учет. Передвигая флажки на картах, я словно краешком глаза подсматривал и учился генеральскому искусству, в конце я так увлекся, что мне казалось, будто я смог бы предостеречь своим советом не один генеральный штаб от неудач. Сколько у меня зарождалось идей! У нас в канцелярии во время войны... но, не будем отвлекаться.

Сейчас в Белграде, в центре одного из всамделешних генеральных штабов, где я мог проявить свое не остывшее еще военное чутье и опыт по-настоящему, от меня ничего не требовали, кроме какого-то пустяка насчет марок. Так нет же, так просто я не уйду. Говорю:

— Господин генерал, мне думается, мы могли бы воспользоваться нашей разгадкой шифра Сароки. Как вы полагаете, для кого он шпионил?

— Для Италии. Наверняка каждое его сообщение шло из Вены в Рим. Они оккупировали наш порт Задар и претендуют еще бог знает на что.

— А не кажется ли вам, что мы могли бы от имени Сароки посылать в Вену такие сообщения, что у них голова пошла бы кругом? Например, они внезапно узнают, что в таких-то и таких-то местах появилась артиллерийская часть, а пара полков пехоты обнаружилась там, где ее никак не ожидали, и кавалерия, и военные суда... И все будет двигаться так, будто мы хотим взять обратно Задар. Все выражалось бы в марках, и они принимали бы это за правду... Принялись бы срочно перемещать свои части, возможно, объявили бы даже мобилизацию, среди народа у них началась бы паника. И все это из-за нескольких марок, не имеющих никакой ценности...

Я объяснил на карте, каким образом я расставил бы все, как раз так, как мы толковали об этом над картами во время войны, и генерал смеялся, покручивая своей единственной рукой усы, и офицеры посмеивались, окружив меня. Похлопывая меня, как своего, по спине, они говорили:

— Этот чех — добар воиник.

Письма были написаны по-немецки, и я сказал, что знаю этот язык и машинопись, но машинка должна быть такого же типа и письма должны посылааться из определенных мест так, чтобы это выглядело, будто дело касается Задара...

Тут генерал приказал все для меня подготовить, послать мне в отель карту и пишущую машинку, пускай, мол побалуется, напишет эти письма и подберет для них марки, как это делал Сарока. Он сказал даже, что прикрепит ко мне вестовых на мотоциклах, которые сразу же развезут мои письма туда, где поставят на конверты нужные почтовые штемпеля. В отеле, разумеется, я буду их гостем.

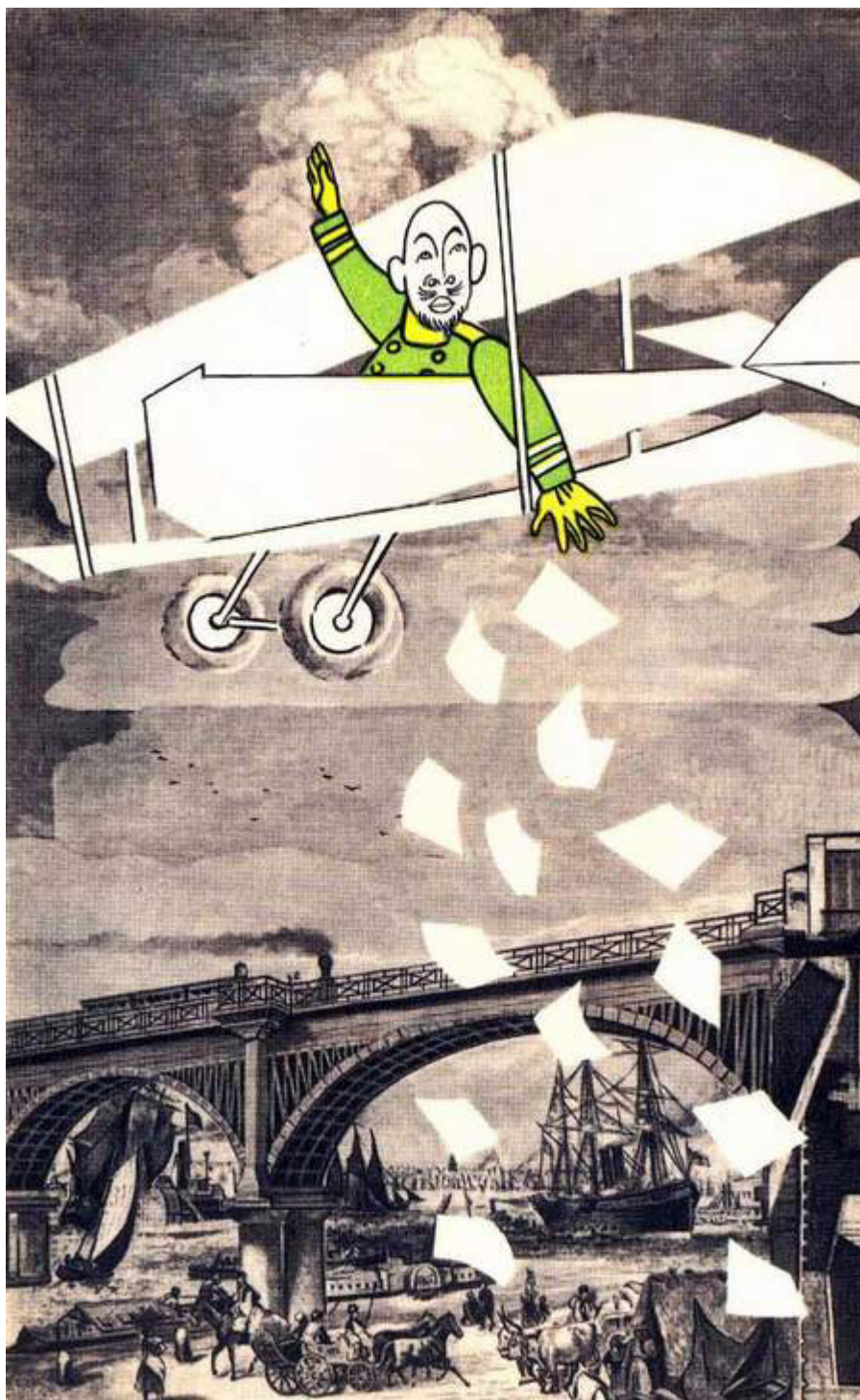
Отлично. Мне оставалось еще заметить, что для задуманного предприятия мне понадобится довольно большой набор иностранных марок. Мне ответили, что об этом мне нечего беспокоиться. И в самом деле, в полдень солдат в сопровождении полицейского принес мне целый чемодан с марками. Вот он, в ваших руках. Кто знает, откуда он появился? Возможно, марки реквизировали у белградских торговцев или коллекционеров. Во всяком случае, взяли чуть ли не все, что имелось в Белграде. Вечером офицер принес мне карты. Попросил меня класть свои шпионские письма всегда в два конверта. На верхнем должно быть написано, откуда они должны быть отосланы. Он передал мне также от генерала две бутылки шампанского для подкрепления.

Я писал письма в Вену, потягивал шампанское и, конечно, пил черный кофе. Из чемодана я отобрал две дюжины Боливии, Перу, Эквадора, Колумбию с флажками вокруг их знаков, разыскал даже несколько пятидесяток Либерии 1906 г., на них изображено прекрасное знамя, вроде тех, за которыми марширует пехота. Я перемешал их с Уругваем, на которых были изображены лошадки, нашел бразильскую 1900 г. с целой группой ездовых на ней и шесть марок островов Кука 1899 г. с чайкой, явно намекающей на самолеты. Между нами говоря, я как раз недолюбливаю некоторые из этих марок, например марки Центральной и Южной Америки. Их раскраска напоминает яркие цвета на этикетках мыла и дешевых конфет. Но теперь, когда они стали моей армией, я был рад любой из них. Уже в первый день, прежде чем лечь, я закончил подготовительную работу. Выпросил у горничной булавки, изготовил бумажные флажки и приколот их к карте, чтобы видеть, как стремительно наступает моя армия на порт Задар.

Утром перед отелем выстроились четверо солдат-мотоциклистов и унтер-офицер, знавший немецкий язык и служивший нам переводчиком. Я вручил каждому солдату по несколько конвертов, моторы страшно затарахтели, потом еще раздалось туф-туф и внезапно все затихло вокруг. Это было здорово, весь отель смотрел на нас.

Но в этом таилось и нечто дурное. Солдаты подъезжают, я говорю им, куда ехать, они отдают честь и укатывают. Это льстило мне. Мне захотелось продлить это удовольствие. Я передал генералу через унтер-офицера, что парни с мотоциклами понадобятся мне еще не раз. Через час мне передали через унтер-офицера, что парни будут здесь в течение целой недели и я могу располагать ими, как захочу. Вероятно, генералу все это уже порядком надоело — шпион-то был под замком! А мне вот не надоело.

Я продолжал воевать. Сразу на следующий день какие-то полки поднялись и направились к побережью. С ними двигалась кавалерия — на этот раз это была двухцентровая марка Соединенных Штатов с лошадкой, которую мне даже было жаль отсылать. Им была придана также и тяжелая артиллерия, о чем всякий зрячий сразу мог догадаться по тунисским маркам, и это, надо полагать, уразумел и венский шпионский центр и доложил в Рим. Были у меня и самолеты, их изображали три гуся на китайских долларовых марках, и они перелетали на сто километров ближе к югу, к побережью. Все это я подготовил с вечера, утром раздал своим мотоциклистам конверты, и они умчались, как черти. Поднимаясь по нескольким ступенькам в отель, я почувствовал всеобщее почтение.



Днем я непрерывно работал у карты. Я втыкал флажки в последующие пункты, куда должно было направиться мое воинство, и отбирал для них марки. Мне удалось находить все новые и новые. Северо-американские четырехцентовые, коричневые, например. На них имеется старинный автомобиль, и они могли означать автоколонны. Крохотный поезд на марке Никарагуа 1890 г., при небольшой фантазии, мог быть расшифрован, как бронепоезд. Даже марки, изображавшие знамя с равносторонними крестами, могли сойти за полевой госпиталь.

На третий день, уже с утра, я послал подкрепление своей наступающей армии, и тогда перед отелем собралась вся улица. Старший кельнер (он знал немецкий язык) шепнул мне, что поговаривают, будто я устраиваю состязание армейских мотоциклистов. На четвертый день я внезапно обнаружил, что моя армия при своем продвижении на юг, к далматинским берегам, уже попала в горы. На это указывала карта. Теперь я вкалывал була-

ки в горные деревушки, посреди темной штриховки. Горы не мешали моей армии так, как они мешали мотоциклистам. А именно, на пятый день вернулось только трое, один где-то разбился. У одного ко всему была повреждена машина, и он мог продолжать поездки только через два дня. Все это меня расстроило, так как я как раз намечал послать одного из них до самого Котора, что находится на южном окончании Далмации, чтобы он бросил там на почте письмо с тремя марками из Тринидада, показывавшими, будто бы там в порту стоят на якоре военные суда. А одна с рыбкой (очень хороший экземпляр) должна была заверить Вену, что у нас там подводная лодка.

Наконец, я сказал себе: хватит бить мотоциклы и мотоциклистов на горных дорогах. Армия находится уже в горах, в шаге от побережья — несомненно, итальянцы напуганы больше, чем достаточно. За Сароку мы им славно воздали по заслугам, и с меня довольно, надоело. Итак, я распростился с генералом и его штабом. Попрощался с нашим послом. Под конец меня еще пригласили к какому-то югославскому министру.

Министр отметил мою скромность, наш посол поздравлял меня, утверждая, что я защитил честь чехословацкой науки. На другой день я уже сидел в отдельном купе первого класса, — да, первого, — и катил в Прагу.

Солдатик принес мне от генерала прямо в вагон большую корзину с цыплятами и винами и вот этот чемодан. Цыплят и вино я уничтожил, пока доехал до Праги.

Так я вернулся домой и снова спокойно сидел в канцелярии, а потом над марками. И вдруг, ровно через две недели, приходит на мое имя письмо. Коллега из Риеки отлично, по-филиателистски оклеил его марками. А по маркам я увидел, что Риека с такого-то дня в итальянских руках. Значит, опять будут новые надпечатки. Меня эти послевоенные надпечатки и изменения названий уже начинали раздражать.

Для верности, чтобы выяснить, что случилось, беру телефонную трубку и звоню нашему канцеляристу Панку. Он постоянно зарывается в газеты и знает все, что происходит в мире. Он разъяснил мне, что Риека, бывшее венгерское поселенье и порт, принадлежала к спорным территориям между Югославией и Италией. А сейчас его внезапно оккупировал господин Д'Аннунцио⁴⁾ и его ардиты. Ардиты — это скопище мальчишек, строящих из себя вояк, а этот Д'Аннунцио — поэт. Ну, а он придерживается принципа «*Possessio super grama ratio*», иначе говоря: «Кто первый, тот и правый». Вот он и захватил Риеку. Меня будто обухом по голове ударили. Я сразу понял — Югославия потеряла Риеку из-за меня. Да, я виноват. После этого я всю ночь прошагал по своей комнате.

Крал и сейчас принялся нервно ходить по комнате.

— Что это вам взбрело в голову? — не совсем учтиво заметил я. — Вы-то при чем здесь? Там происходили различные международные переговоры и интриги, и итальянцы вели себя при этом более бурно и с темпераментом, а этот Д'Аннунцио был в самом деле поэтом и хотел покрасоваться.

— Нет, нет, не утешайте меня, — отмахнулся Крал. — Прошло уже немало лет, а как подумаю об этом, хочется биться головой о стену. Только я был виноват и моя домо-рошенная стратегия. А я еще ею так гордился! Этот однорукий генерал несомненно хорошо и целесообразно расположил свою армию, а я явился и все перепутал — пускай лишь в марках, но ведь итальянцы не знали этого и решили, что так происходит все на самом деле. Я ее выгнал на холмы и горы и оголил остальную территорию — так мы это называли во время войны. По флажкам на карте мы судачили об ошибках Жоффа или Брусилова. Именно так я оголил правый фланг, Риека оказалась незащищенной, а посему поэт так расхрабрился и занял ее с помощью мальчишек!

— Глупости, милый друг...

— Погодите, погодите, не торопитесь. Я тогда все это не только продумал, но и высчитал. Вот, слушайте. Я посылаю свои марки в Вену. Это длилось тогда трое суток. Также медленно ездил тогда и международный экспресс. Оттуда это шло в Рим, скажем, четверо суток. Из Рима уже можно было телеграфировать или даже позвонить по телефону этому Д'Аннунцио, значит, это я не считаю. Но пара дней была ему нужна, чтобы

одеть и вооружить своих парней и чтобы изготовить печати для надпечатки марок. Скажем, он мог занять Риеку уже на десятый день, и в этот же день мой друг мог купить на почте первые марки и сразу послать их мне с этим письмом. Оно шло в Прагу как раз четверо суток. Сложите все это и получите ровно две недели с момента, когда я кончил воевать. Все сходится точка в точку. К несчастью, это так.

Я еще хотел что-то возразить, но Крал замахал рукой и продолжал:

— Что ж, так все это и случилось. Удачно еще, что мое вмешательство не попало в историю. Поэтому я и остерегался рассказывать вам о нем. У меня было тяжелое угрызение совести. Это худшее наказание. За что? Неужто непонятно? За самовлюбленность и гордыню. Когда я удивил братьев югославов изящным решением марочной загадки, мне захотелось еще принудить их удивляться моему военному искусству. Показать, что я на самом деле добар воиник!

Так решил каждый. А еще добавлю: меня наказали марки. За то, что я обращался с ними, не считаясь с тем, для какой цели они созданы. Замечали ли вы, что люди всегда страдают от вещей, если принуждают их делать то, к чему они не предназначены? Вещи мстят. В молодости мой сосед по канцелярии имел привычку копаться в зубах кончиком ножа. Смотреть на это было невыносимо. Наконец, он сломал себе два передних зуба и в придачу кончик этого самого ножа из золингенской стали. А наш писарь колот на рождестве орехи револьвером и отстрелил себе кусок ладони и рукав! А что вытворяют ящики стола? У вещей свои капризы, и они умеют злорадствовать.

Я поступил тогда со своими марками, не постесняюсь сказать дорогими марочками, также неправильно, не по-филателистически. Помните, когда я придерживался с ними филателистической морали, то с их помощью спас индийскому принцу его королевство. А теперь, когда я поступил с ними так богохульно, они отомстили мне.

Я знаю, что вы скажете. Что все это суеверие и мистика. Ладно. Пусть вы правы. Но разве не могу я позволить себе немного мистики в связи с тем, что я тогда проделал с ними? Ведь никто не твердит так часто, что в филателии должны господствовать деловитость и честность, что марки надо использовать по их назначению. Все это я говорю в интересах филателистской морали. Ведь марки не имеют покровителя или защитника... Понимаете, шоферы имеют святого Христофора, пожарные — Флорианта, актеры — Талию, а марки — никого. И даже нечто, вроде демона, духа марок, не властвует над ними. Если бы у них был кто-либо такой, тогда можно было бы сказать: мол, меня их покровитель наказал за то, что я проделал с ними такую штуку, для которой они не созданы. Я воевал с их помощью. Но у марок совершенно мирная цель: чтобы люди их собирали и радовались им. А кто использует их иначе, грешит. Вот за это я и был наказан.



J. R. Official

На этот раз у моего друга было отличное настроение, и он начал свой рассказ даже без особых просьб.

— Вас заинтересовала сицилийская марка? Я не удивляюсь, она может вызвать восторг у многих. На ней прекрасная тончайшая гравюра тех времен, когда в марочном искусстве еще была в чести и высоко ценилась терпеливая работа гравера. Одну Сицилию, помнится, я когда-то преподнес в подарок монахскому князю.

Такой важный господин, понятно, не коллекционирует отдельные марочки. Он тогда составлял себе из сицилийских марок целые листы. Как мы выражаемся, он реконструировал граверные плиты. Я объясню вам это сейчас. Дело в том, что после многочисленных граверных исправлений, проводимых на плите, когда она начинала при печатанья марок изнашиваться, случалось, что постепенно одна марка стала отличаться от других марок того же листа. Иногда это были едва заметные детали. Однако находились знатоки, умевшие, например, у сицилийских распознавать все эти отклонения. Они либо писали толстые книги и составляли списки сицилийских ретушей (забава очень дешевая), либо стремились собрать все отклонения какой-то из этих гравюр. По этим отклонениям они снова составляли целый лист примерно в том виде, как он вышел в типографии из-под плиты. Это, конечно, более дорогое развлечение. Настолько дорогое, что его может себе позволить какой-нибудь монахский князь или один из Ротшильдов. Здесь нечто от кроссворда или, если хотите, от скачек, от волнующей охоты, а все это вместе можно назвать вершиной филателистического снобизма, доставляющей большое удовольствие торговцам марками.

Выглядит это так. Перед вами листок, клеточки которого заполнены одной и той же маркой, повторяющейся сто раз, но каждый раз она немножечко иная. Изменения узнаются в микроскоп. Если, скажем, в бороде монарха торчит на один волосок больше, то по этому признаку вы определяете, что марка должна находиться в пятой клетке второго ряда, а если в ее обрамлении верхняя линия толще, то она из шестой клетки седьмого ряда.

Это, как видите, весьма скрупулезные различия, но знать их совершенно необходимо для того, чтобы правильно расположить марки. Если вы представляете, как это делается, то можете гордиться. Речь идет о знаниях.

Ну так вот, если бы вы были монашеским князем, то могли бы попытаться реконструировать такой лист, хотя бы только сицилийских, в два грана, голубого оттенка. На них этот эксперимент нетрудно провести. Они встречаются довольно часто. Вы начнете с объявления, что заплатите пятьдесят франков за хороший экземпляр. Начнутся предложения и посылки. Выберете из всего этого то, что вам требуется, вернете ненужное. Потом вы принимаетесь прилежно изучать на каждой марке бороду короля Фердинанда II, его брови, длину носа, извилины ушей и вариации надписи, обрамляющей марку. В зависимости от всего, что вы найдете, вы определите ее потом в девятую клетку во втором ряду или в первую в восьмом. Так, как они располагались, когда семьдесят лет назад выходили из типографии в целых листах.

Сначала все идет быстро, так что в вас все время поддерживается коллекционерский азарт. В филателии вообще начало легко и быстро. Пять, десять, семьдесят, восемьдесят — через два месяца у вас первые сицилийские в сборе. Но затем темп замедляется. Чем больше у вас марок, тем труднее доставать следующие. Ведь вам это уже известно. Восемьдесят шестую и восемьдесят седьмую такой монашеский князь как-нибудь еще достанет, но три следующих, до девяноста, уже вызывают затруднения и стоят по триста—пятьсот франков. До девяноста шести этот князь дотянул, а за девяносто шестой экземпляр заплатил уже две тысячи.

Оставалось раздобыть еще четыре. Это уже не масса и не куча, как раньше, это отдельные индивидуумы. За каждый в отдельности надо снаряжать охоту, о каждой можно написать детективный рассказ. Девятая марка в седьмом ряду и третья в третьем были для князя закуплены после длительных переговоров, причем первая — в Германии, у бывшего ротмистра, за три тысячи, а вторая — у шведского фабриканта галош, затребовавшего, кроме трех тысяч, еще любой другой экземпляр двугранановой. А так как он не заботился об отклонениях, то у него теперь были и деньги, и марка. Третью, предпоследнюю, один торговец искал целый год и послал по ее следам в Бухарест своего агента. Агенту пришлось отправиться еще в Бордо, а из Бордо — в Ригу. Торговец получил за марку восемь тысяч плюс дорожные расходы.

Итак, после двухгодичного труда лист был заполнен девяноста девятью марками. Незаполненной оказалась еще только одна клеточка, ну, скажем, четвертая в седьмом ряду, маркой, которая долгие годы до этого была безразлична всем. Но, удивительное дело, законен такой вопрос: почему же она в то же время в течение этих поисков сицилийских марок не появилась? У нее в слове «Vollo» первое «о» немного толще, и это единственное, что в ней примечательно.

Теперь все ищущие щупальца кольцом сомкнулись вокруг этой марочки. Несмотря на то, что погоня нацеливалась именно на нее, ей словно удавалось увильнуть от всех силков и приманок. Можно было подумать, что она где-то пряталась. Но ведь таких, как она, марок, имеется на свете столько же, сколько и других. А она вот запропастилась, не найти ее. И если она не отыщется, то все это дорогое двухгодичное предприятие рухнет, рассыплется, лист никогда не будет полностью восстановлен.

Но тогда не текла бы в жилах монашеского князя коллекционерская кровь. В решительный момент он взял дело в свои руки, устранив от него своего секретаря, и поднял дирижерскую палочку. Казалось, что охота за последней маркой приносит ему особое наслаждение и что он вообще взялся за составление сицилийских марочных листов только из-за сильного волнения, доставляемого ему этим последним этапом поисков. Несомненно, он получал от этого больше удовольствия, чем его гости от рулетки и баккара, которые поставляли ему средства для этого удовольствия.

Князь в своей горячке поставил на ноги весь филателистический мир. Наобещал всем золотые горы. Удесятерил цены. Подгонял торговцев и аукционеров собственноруч-

ными письмами. Подсказывал им, где искать. Он выезжал даже за границы своего княжества и приглашал к себе известных филателистов, которые, по его подозрению, могли прятать это сокровище.

Коллекционеры и торговцы мира возбуждены, князь все накаляет атмосферу. Все филателисты роются в своих запасах, разыскивая 2 Gr Sicilia, вообще-то довольно дешевую и известную марку, но из-за своего незначительного отклонения получившую теперь в обстоятельном каталоге Зампоччи 476-й номер. Да, это именно четвертая марка в седьмом ряду, которую распознают только по ее толстому «о».

Человек, владеющий ею, обладал теперь, таким образом, целым состоянием, а всего два года назад каждый охотно продал бы мне ее за пятьдесят франков. Торговцы пытаются нащупать все новые и новые места, где ее можно было бы купить. Агенты гоняются за любым более или менее крупным коллекционером. Журналы и газеты объявили: за 476-й номер каталога Зампоччи будет выплачено десять тысяч швейцарских франков. И снова все филателисты мира устремились с лупами к своим сицилийским маркам, разыскивая, нет ли у них экземпляра этой обыкновенной марки, ставшей внезапно драгоценностью, потому что она нужна князю. Еще одна волна объявлений в газетах и журналах во всю страницу. Новые вежливые и заманчивые письма торговцев своим клиентам.

Я, конечно, также получил такие письма от Келлера из Берлина, от Шампиона из Парижа, от Фридля из Вены, от Стенли Гиббонса из Лондона и бог знает от кого еще с вежливыми предложениями пересмотреть свои сицилийские, нет ли в моих запасах 476-го номера каталога Зампоччи, и в случае, если он у меня окажется, откликнуться, поставив любое приемлемое условие.

Сицилийские марки я не собирал. Но, может быть, потому, что мне доставляло радость видеть столь виртуозную граверную работу на крошечном листочке, я сохранил у себя ленточку таких самых дешевых марок. Да, черт никогда не дремлет. Просто не верилось, что у меня оказалось сразу даже два экземпляра этой марки: один — в альбоме, прекрасно гашеный только на уголке, а второй — в запасе, также еще вполне сохранившийся.

Следовательно, я мог предложить солидной фирме Стенли Гиббоне купить у меня тот вполне приличный экземпляр из альбома за двадцать тысяч франков, и они немедленно заплатили бы мне эту сумму, потому что монакский князь заплатил бы им за нее в два раза дороже. Но меня надо знать. Я сказал себе: и я и он коллекционеры. Три года назад эта марка имела обыкновенную каталоговую цену. Не станем же мы наживать друг на друге. Я написал монакскому князю, что ему, видимо, не хватает именно этой марки и что я позволяю себе послать ее ему даром. И подписался: Игнац Крал, Прага.

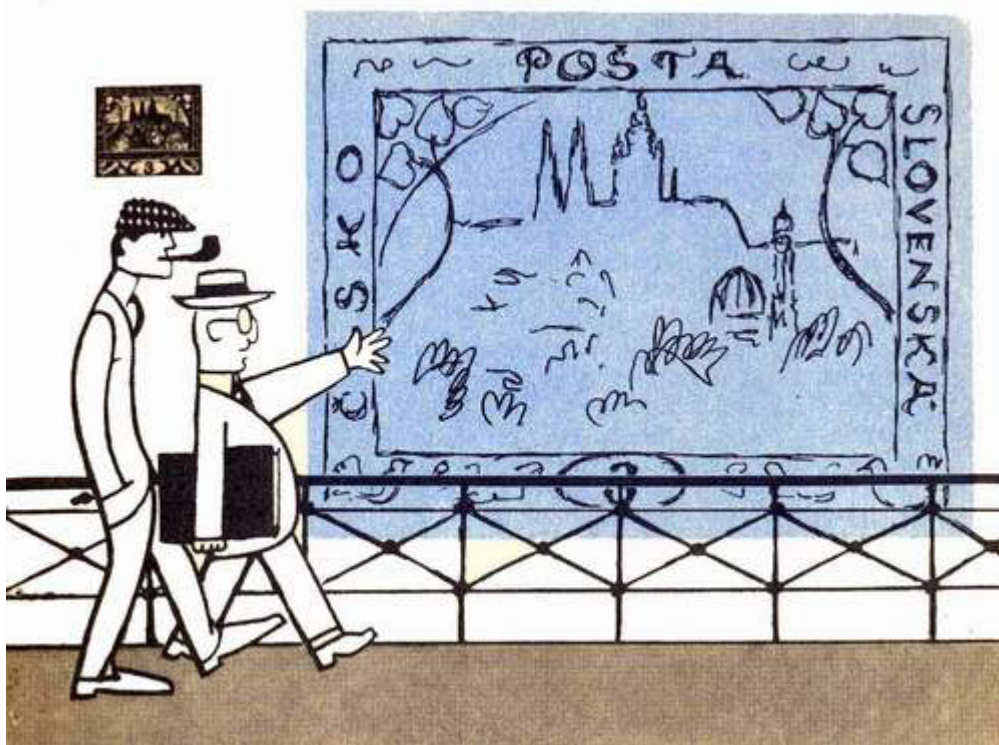
Ну, потом последовала благодарность. Через полгода в Брюсселе князь получил за свою коллекцию большую премию, а я от него еще и звезду, как будто с золотом и рубинами, в прекрасном футляре. Называют ее офицерскими инсигниями ордена Карла Великого. Это высший орден, которым награждает монакский князь. Такой орден получают от него, кроме филателистов, также знатоки морских животных и археологи. Да, так все это было с этим орденом и с этой маркой. А вот, что касается ордена Бани... Я не показывал его вам? Это прекрасный орден. Я не шучу. Говорят, что, если обладатель его идет в Лондоне на прием в королевский дворец, навстречу ему обязан выйти гвардейский оркестр и играть, сопровождая его. Наш директор любил говорить: «Слышь, Крал, когда я опять закачусь в Лондон, то захвачу тебя с собой. Чтобы я мог похвастаться потом, что нам обоим наяривала королевская музыка!». Но это он только так говорил, на самом деле он не брал с собой в поездки сотрудников мужского пола.

Однажды ко мне явился господин Брзорад, швейцар из отеля «Оксиденталь», что на Карловой площади. Хотя «Оксиденталь» и второсортный отель, но сад перед его окнами придает ему аристократичность. К тому же в нем хороший управляющий. Именно поэтому в нем частенько проживают иностранцы, рекомендующие его друг другу. Когда Брзорад приносит кому-нибудь из них первую почту, то просит на одном из семи языков, которыми он владеет, марку с конверта. Эти марки он обменивает в каком-то филателисти-

ческом трактире в Вышеграде, но он не брезгает обмениваться и с мальчишками, посещающими школу близ отеля. Таким путем он постепенно приобрел нечто, называемое коллекцией. Он оказывал мне различные небольшие услуги и за это хаживал ко мне за марочной мелкотой, от которой я хотел избавиться.

Так вот, в тот день он пришел ко мне, но отнюдь не за тем, чтобы порыться в корзине для бумаг, где он находил иной раз ценные вещи для своей коллекции. Он зашел сообщить, что у них в отеле поселилась английская парочка. Она — красавица, стопроцентная дама, он — обыкновенный порядочный молодой человек. Она на вид года на четыре старше его. Отель «Оксиденталь» не подходит для романов, значит они молодожены, так они и отметились. Но романтическая деталь все же налицо: по-видимому, у них на исходе деньги, потому что Брзорад должен был помочь молодому супругу продать платиновый портсигар и трость с золотым набалдашником. Дама, увешанная прекрасными драгоценностями, — она запирает их в негоряемом шкафу директора, — пока ничего не продает.

— Теперь они, должно быть, уже проели портсигар и тросточку, потому что молодой супруг опять пришел ко мне, — объяснил Брзорад. — Дескать, я говорил с ним о марках. (Почты он пока никакой не получает.) Сообщил мне, что он привез с собой коллекцию марок и не прочь продать ее, если в Праге имеются филателистические магазины. Не возьму ли я это на себя, как бывало и раньше. И вот, господин диспонт, — Брзорад величает меня всегда самыми торжественными титулами, — этот англичанин вытащил из чемоданчика два альбома... Открыл один, а там такие марки, что из-за них я был бы способен совершить покушение... Одни английские колонии. Гонконг, Гвиана, Наталь, Фиджи, Австралия, Виктория, Канада, одним словом, все! Старые, новые, гашеные, чистенькие, одна красивее другой. Когда у меня перестала кружиться голова, я кинулся к вам.



Надо сказать, что Брзорад, подобно каждому мелкому коллекционеру, недолго любил торговцев марками. Он не мог понять, как может кто-то торговать вещами, которые, по его представлению, должны быть только предметом любви. Во мне он видел надежного защитника прекрасной коллекции англичанина против самого алчного стяжательства торговцев. После того как он замучил меня комплиментами и мольбами, я вынужден был согласиться на встречу с его подопечным.

Англичанин пришел сразу же на следующее утро с альбомом, переплетенным роскошной мореной кожей зеленого цвета. Явился он с дамой, закутанной в меховое весеннее пальто. Излишне говорить, что я не разбираюсь в женщинах. Но эта оставляла особое впечатление. Я словно смотрел на ее портрет. Как бы это яснее выразиться? Вокруг личика словно рама: золотистые с бронзовым отливом волосы, выбившиеся из-под шляпы, бриллиантовые серьги в ушах, жемчуг на шее, плечи скрывает мех. Очень накрашена. Видно было, что она старше мужа. Но никто не взялся бы утверждать, двадцать ли ей еще или уже все тридцать. Англичанин был красив своей молодостью. Я прикидывал, сколько ему дать, и решил, что ему двадцать пять. Красавчиком его нельзя было назвать, но был он рослый, здоровый, со свежим лицом, какой-то простодушный человек. Лицо его показалось мне знакомым. Возможно, по какому-нибудь фильму. Там я мог увидеть такого простого, симпатичного англичанина, который под конец неожиданно оказывался героем.

У него разочарованно вытянулась физиономия, когда я объяснил ему, что сам я марками не торгую. Но его честное и искреннее лицо сразу осветилось широкой улыбкой, когда я заверил его, что постараюсь найти такого покупателя, чтобы господин — тут он назвал себя господином Юнгом — значит, чтобы господин Юнг удачно продал свои марки. И я выразил желание посмотреть их. Видите ли, я немного опасался, что в альбоме самым ценным окажется его переплет — из прекрасной тяжелой зеленой кожи с тисненным орнаментом.

Не спеша открыл я альбом.

Да, начиналось все, как всякая мальчишеская коллекция. Поймите меня верно. Вы, вероятно, представили себе, что в ней были поддельные Гамбург и Гельголанд, особенно тот, с трехцветными пометками, потом кругло вырезанные марки из американских секреток и даже несколько гербовых. А все остальные — самый обыкновенный товар, надерганый из пачек «сто штук за две кроны»?

Нет, не так это было. Коллекция Юнга была на двадцать этажей выше и тем не менее носила мальчишеский характер. У него там было — и не думайте, все в прекрасных экземплярах — с полтысячи обыкновенных марок британских колоний, но внезапно сверкнула среди них индийская телеграфная в четыре рупии 1861 г., за которую на любом аукционе началась бы драка. Или, скажем, у него было несколько Сент-Винсентов с Эдуардом, которые имеются почти у каждого коллекционера, но снова среди них оказалась пятишиллинговая *Rex et justitia* под короной, которые стоили, так сказать, «для брата по дешевке», по три тысячи. И так в каждой колонии оказывалось нечто подобное. Но что было самым ценным, так это множество, почти полная коллекция, благотворительных марок! Они выпускались колониями во время острой нужды в деньгах для ведения войн, для постройки больниц или футбольных площадок. Казалось, что он ходил на благотворительные базары покупать эти марки.

Надеюсь, вы поняли меня: мальчишество состояло в том, что у него были собраны обыкновенные и даже сверхобыкновенные экземпляры, правда, очень хорошие, наряду с весьма ценными и даже ценнейшими экземплярами, их ему словно дарил из своих излишков дядюшка или старший двоюродный брат. Вы ведь по себе знаете, что именно таким путем попадали в вашу коллекцию более интересные штуки.

Я составил себе список наиболее интересных марок этого парня (мои посетители тихо скучали полтора часа, причем он держал ее руки в своих) и подсчитал, что они стоят от десяти до двенадцати тысяч крон, для мальчишеской коллекции недурная сумма. Молодого супруга эта сумма вполне удовлетворила. Он согласился также с моим советом отдать Брзораду другие марки, за которые мы не получили бы больше двух сотен. Любой торговец отнесся бы к нам с сомнением, увидев их рядом с экземплярами для продажи.

Втянувшись в это дело, я пригласил Юнга пойти завтра вместе продавать марки. Я надеялся, что сумею убедить какого-нибудь торговца съездить с ними в Берлин или в Вену, после чего ему будет обеспечена стопроцентная прибыль. Правда, это было не так просто. Кого в Праге могут заинтересовать британские колонии?

Все утро до обеда я напрасно таскал по торговцам этого мальчика. Мы переходили из пассажа в пассаж, зная, что в их полумраке охотно прячутся магазины марок и фонографов. После второго пассажа господин Юнг предпочел остаться снаружи, пока я в течение двух часов уговаривал торговца в магазине. Он слушал с фонографа модные песенки и утверждал потом, что ему не было скучно. Потом, в третьем пассаже, он просадил двадцать крон, пытая счастье в игорном автомате, и я помешал его развлечению, вернувшись из магазина через полчаса с его непроданной коллекцией.

Мы договорились предпринять новый поход на следующий день, до обеда, так как после обеда молодые супруги регулярно играли в бридж. На этот раз мы предпочли центру окраину, где при меньших накладных расходах одинаково хорошо ведет свое дело еще ряд торговцев марками. Мы посетили парочку таких торговцев, одного — в Нуслях, а другого — в Вршовицах. Я ожидал, что Юнг возьмет такси, но он предпочел поехать за мой счет в трамвае. Он стоял со мной на площадке, и я должен был переводить ему остроты кондуктора, над которыми потешались пассажиры. Он тоже смеялся. И когда мы, после неудачи в Вршовицах, поехали на Жижков, он мастерски вскочил в уже отъезжающий вагон. Магазин марок на Жижкове расположен за маленькой лавочкой с канцелярскими принадлежностями. Хоть мы и не продали марки, но Юнг купил в этой лавочке для своей леди за две кроны картонного паяца. Там же любезный торговец сообщил нам, что его коллега далеко в Высочанах интересуется этими марками и готов завтра милостиво посмотреть их.

На следующий день, в воскресенье, после обеда, мы поехали в Высочаны. Дело в том, что в воскресенье набожные англичане не играют в карты. По дороге мой молодой друг заинтересовался модами наших предместий. Я сказал бы, что он изучал их очень серьезно, прямо как специалист, и даже заставил меня попросить у одного парня, который сел в Пальмовке в вагон, адрес магазина, где тот купил свой ярко-оранжевый галстук и ядовито-зеленые носки. На этот раз мы продали марки. Сделка была совершена на четвертом этаже большого доходного дома. Юнг получил чек на девять тысяч, что показалось мне теперь приемлемым. Торговыми переговорами он не интересовался, глядел все это время в окно, наблюдая, как за оградой какие-то подростки в красных и желтых майках гоняли мяч. Чек не придал ему гордости, и обратный путь мы вновь провели на передней трамвайной площадке.

Он очень сердечно поблагодарил меня, и я искренне пригласил его вскоре посетить меня. Мне нравилось то, что он интересовался сразу столькими вещами: фонографами, трамвайными остротами, футболом, носками и бог знает, чем еще. Рядом с ним я чувствовал себя лучше.

Когда Брзорад забежал похвастаться подаренной ему полутысячей британских колоний, я сказал ему, что в их отеле все же разыгрывается небольшой роман. Мне кажется, что здесь налицо брак двух бедняжек, которые не посчитались с волей мещански настроенных родителей. По-видимому, они поспешно сбежали из дому, и мне особенно понравилось в молодом человеке то, что он взял с собой лишь вещи, принадлежавшие лично ему: несколько безделушек и коллекцию марок детских лет. Впрочем, Брзорад не возражал против моего предположения и благословил такой роман в своем отеле. Дескать, ничего, только бы у них бумаги были в порядке. Юнг очень обрадовал его подаренными марками. За это он должен был выяснить для него, какая пражская футбольная команда носит желтые майки. У нее, якобы, по мнению англичанина, имеется замечательный нападающий.

Господин Юнг посетил меня недели через две. На этот раз он принес альбом из красной мореной кожи. Экономить, парнишка, не умеешь, — подумал я, глядя на него с упреком и сожалением. Ведь умудрился спустить девять тысяч за две недели.

Но это хорошее отношение к нему держалось только до тех пор, пока я не открыл второй альбом. Внезапно прежние приятные чувства, вызванные внешностью и открытым веселым характером парня, сменились завистью и подозрением.

Я завидовал. Да, потому что во втором альбоме молодого человека расположилась полная, да, совершенно полная, без пропусков, прекрасная и чистая коллекция неиспользованных служебных британских марок, в таком виде, как они употребляются различными министерствами, командованием армии, адмиралтейством, обозначенные надпечатками J. R. Official, Army Official, Admiralty Official, O. W. Official. Представьте, у молодого человека были даже все марки, от первой до последней, употребляемые королевским двором и имеющие надпечатки R. H. Official, в большинстве настолько редкие, что лишь некоторые самые распространенные из них значатся и оцениваются в каталогах. Боже правый, я ведь мог завидовать молодому человеку!

И я мог также заподозрить, что он украл их у бывшего владельца или ограбил его. Ведь я знал, что ни на какой почте Великобритании не продаются марки, используемые для официальных писем министров или королей. Так что если они появятся где-нибудь в целых сериях, то это означает, что этот их обладатель мог получить их только в виде подарка, и это в буквальном смысле слова королевский подарок, потому что с меньшей вероятностью их никому не получить. Ну, так вот, если такая вещь, которой могут во всем мире похвастать два или три десятка людей, очутится в руках обыкновенного молодого человека, то невольно приходят на ум все способы, которыми он мог добыть ее, кроме одного: что он добыл ее честным путем.

Я принялся расспрашивать его исподволь, чтобы не выдать своих» подозрений.

— Откуда у вас столько разных неиспользованных марок?

— Мне их подарил отец. Когда мне было четырнадцать лет, он увидел, что я тоже начинаю интересоваться марками. — И парень с лаской посмотрел на марки, словно они напомнили ему что-то очень дорогое.

— А как они попали к отцу?

— Вот этого я не знаю, ей-богу, не знаю. Возможно, что он купил их. Он тратил на марки довольно много денег. Как вы думаете, смогу я за них что-нибудь получить?



Нет, Юнг и не подозревал, чем он обладает. Не знал, что если бы я телеграфировал моим старым друзьям из фирмы Зенфов и сообщил, что у меня лежит на столе, они при-

мчались бы экспрессом и выложили бы, скажем, пятьдесят тысяч, не меньше... Кроме шуток, он ничего не подозревал. Только пылливо посмотрел на меня, безмолвно спрашивая, выручит ли он хотя бы две сотни, чтобы оплатить счета в отеле. Это были честные, искренние, лишенные всякой хитрости простые глаза. И эта наивность, и чистый взгляд подсказали мне, что никакого мошенничества здесь нет, ни у кого он эти марки не крал, не может такой искренний и милый молодой человек совершить нечто подобное.

А если они в самом деле принадлежат ему? Тогда молодой человек принадлежит к дюжине избранных среди двух с половиной миллиардов смертных. Только эта горстка избранных может приобрести честным путем все эти J. R. Army, R. H. и прочие Official.

Но чувство почтительности пока не завладело мной полностью. Я все еще колебался. Правда, слегка. Полной уверенности у меня не было. И чтобы замаскировать это свое состояние, я небрежно сказал ему:

— Оставьте пока мне эту коллекцию. А сумеем ли мы сбыть где-нибудь ваши марки, я скажу вам денюшка через три.

Представляете, он еще принялся горячо благодарить меня, собственно, чужого человека, что я разрешаю ему оставить у меня на столе его марки! Одну из интереснейших коллекций на свете. После этого я окончательно убедился, что марки ему подарило лицо, способное их раздавать.

Я заинтересовался Юнгом. Кто же он такой в самом деле и что делает в Праге? На другой день я отправился на прием к британскому послу. Вначале я должен был представиться швейцару, затем — канцеляристу и только потом — секретарю. Сами понимаете на мне была одежда, в которой я хожу на работу в банк, а рекомендовал я себя только с помощью моей старой пожелтевшей визитной карточки. Так что прошло немало времени, пока я миновал швейцара, чиновника и секретаря и очутился перед самым господином послом.

— Недавно я познакомился с одним молодым англичанином, — начал я. — Он ничем не примечателен, обыкновенный молодой, веселый, очень скромный, доверчивый, быть может, чересчур доверчивый человек и простодушный...

— Погодите! — внезапно перебил меня посол. — Господин секретарь, оставьте нас с этим господином наедине, — и с этими словами он чуть ли не вытолкнул за двери своего секретаря, который только что ввел меня сюда и ждал минуты, чтобы избавиться от меня.

— Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, — сказал посол, когда мы остались одни. Он подошел к несгораемому шкафу, с полминуты возился, открывая его, а потом принес мне маленькую фотографию.

— Это ваш молодой англичанин?

— Я все думал, кого же напоминает мне этот молодой человек, — сказал я удивленно. — Оказывается, надо было просто вспомнить ньюфаундленскую марку! Теперь я знаю, где я столько уже раз видел лицо молодого Юнга. Конечно, это он, — подтвердил я, подумав, что посол, возможно, не имеет филателистического образования.

— Славу богу! Благодарю вас от всей души, — и голос старого человека задрожал от волнения. — Сколько мы его разыскивали! Его семья и наша империя могут опять свободно вздохнуть. А теперь расскажите, как и где вы нашли его?

Я рассказал ему о Брзораде, об отеле «Оксиденталь», о красивой госпоже Юнг, глядя на которую не скажешь, что она на пару лет старше своего супруга, о торговцах марками и наших походах к ним и, наконец, о том, как молодой Юнг, сам этого не подозревая, выдал свое инкогнито коллекцией служебных британских марок, которые попадают в руки не каждому на дороге. Все эти полчаса старый посол поглаживал мой рукав и раз двадцать признательно сжимал мою руку. Видно было, что я завоевал его расположение своим рассказом и тем, что я ни о чем не расспрашивал его.



Да, он мне полностью доверился, настолько, что стал советоваться со мной.

— Как вы думаете, как нам заполучить его домой? — спрашивал он. — Мы должны быть крайне осторожны. Стоит ему почувствовать, что мы знаем, где он находится, — и тогда он снова исчезнет, ищи его тогда на другом конце света! В Праге он считает себя пока в безопасности. Кроме того, как вы говорите, у него нет денег. Значит, он в пределах досягаемости. Но как поступить, чтобы он вернулся домой? Конечно, один. Без этой, простите, дамы. Это исключается.

— Мне кажется, что она из очень хорошей семьи, — заметил я. — Уж очень не хотелось мне предавать моего молодого друга.

— Да, но не в этом дело. Это невозможно. Так что же делать?

Я вспомнил, как нежно посмотрел молодой Юнг на свои марки, когда сказал, что это подарок отца. Возможно, он видел в этот момент руки, дарившие их ему, когда он был еще мальчуганом?

— А что, господин посол, если бы разнесся слух, будто захворал его отец?

— Вот это идея! Великолепно! Вы — прирожденный дипломат, господин, господин...

— Игнац Крал.

— Я передам ваш совет в Лондон.

Мы дружески простились. Он проводил меня до самой лестницы к удивлению секретаря, чиновника и швейцара, с трудом допустивших меня к нему.

Мистер Юнг не зашел справиться о своей коллекции, как было условлено. Он мог уже прочитать во всех газетах, что в Лондоне заболела очень высокопоставленная особа и что к ней были срочно вызваны все ее сыновья, один — из Либерии, где он охотился на львов, второй — с хребтов Каракорума, куда он взбирался уже несколько недель, и другие — из разных концов света, где они занимались спортом. О Праге в этих сообщениях не было ни звука. Однако Брзорад рассказал мне, как мистер Юнг вскочил и ринулся в свой номер из холла отеля, после того как вычитал что-то в «Дейли мейл». Он даже швырнул газету на пол. Через полминуты он явился к Брзораду и упросил его купить у него несесер с туалетными принадлежностями из хрусталя, золота и серебра всего за три тысячи крон. Этим денег как раз хватило, чтобы заказать особый самолет из Праги в Лондон. Молодая дама, плача, уехала в тот же день на Ривьеру. Поездом.

Альбом J. R. Official я упаковал и отослал послу для Юнга. Этим должна была кончиться эта странная история.

Примерно через три месяца меня посетил секретарь посла. Передал просьбу посла явиться к нему в будущий четверг на ужин. Одежда вечерняя — фрак.

Я отговаривался, как только мог. Дело в том, что прокат фрака стоил как будто сто крон. Об этом я знал от одного своего коллеги, бравшего фрак для женитьбы. Но секретарь так настаивал, так просил не отказывать в просьбе старому господину и его супруге, что я сдался и не пожалел. Перед ужином посол протянул мне знакомый альбом с переплетом из красной мореной кожи. Мне, мол, его посылает мистер Юнг на память и в благодарность за то, что я сопровождал его в Праге. Во время ужина я положил альбом под себя и сидел все это время на коллекции J. R. Official. Весь вечер промучился я от мысли, что создал у мистера Юнга представление, будто вся Прага состоит только из пассажиров и окраинных доходных домов. Знай я, кто он такой — уж тут я развернулся бы, расположил бы его к Праге, показал бы ему Градчаны и Карлов мост и Вышеград. Ужин был великолепен и утешил меня. Я сидел рядом с супругой посла, и мы говорили о дороговизне. С нами ужинало с десяток других господ и дам из посольства. В бриллиантах и жемчугах, в глубоких декольте и фраках, и все усердно принимали участие в разговоре со мной.

Когда очередь дошла до тостов, внезапно появился лакей, неся что-то на подушечке. Это был орден для меня. Орден Бани. Я покажу его вам. Его носят только к фраку, а у меня фрака нет. Было сказано, что я получаю его за великие заслуги перед Великобританией. Мне повесили его на шею, произнесли в мою честь тосты, но вы ведь знаете, я не падок на славу. Зато коллекция, на которой я сидел, доставляла мне несказанно большую радость.

Разумеется, ни словечка не было сказано о том, за что я получил орден. Но когда я уже уходил, — посол предоставил мне свой автомобиль, — то подумал, как, вероятно, тяжело переносить разлуку со своей прекрасной дамой бедняге Юнгу. Ведь он был так счастлив с ней в Праге. И вот я решил замолвить за молодых людей словечко.

— На мой взгляд, эта парочка чертовски подходит друг другу, — шепнул я послу, проводившему меня до лестницы. — Дама произвела на меня впечатление благородной и...

— Иначе не могло быть, — улыбнулся посол. — Она — герцогиня и из очень старинного рода.

— Но почему у вас в Англии считают невозможным их брак? Разве между ними столь большая разница, между герцогиней и господином Юнгом?

— Если говорить о родovitости, то разницы нет, — откликнулся посол. — Но она

старше его.

— Неужто какой-то год может служить препятствием! — настаивал я. — Я всегда слышу, что женщины умеют отлично сохраняться.

— Да, отлично, — и тут посол расхохотался. — Ему двадцать шесть лет, а она самая сохранившаяся женщина в Лондоне. Ей пятьдесят два года.



Редкостная надпечатка 2F. 50 Cent Belgien

— Вот самый ценный экземпляр из моих марок военного времени. И, возможно, вообще самый редкий экземпляр этого рода на свете. Кто знает! Одномарковая германская, с надпечаткой 2F. 50 Cent. Belgien. Я даже не рискую определить ее ценность.

Господин Крал показал мне осторожно взятую пинцетом марку из альбома, защищенную от всяких случайностей прозрачным конвертиком. Как всякий любознательный и культурный филателист, я знал, что ценность этих марок, выпущенных во времена оккупации Бельгии германскими войсками, возрастает, если украшающие их звездочки стоят не на одном уголке, а на двух. Я до боли напрягал зрение, пытаюсь разглядеть, не принадлежит ли эта марка к подобному виду. Однако ничего такого я не заметил и в недоумении покачал головой.

— Почему вы качаете головой? Не поняли в чем дело? — спросил Крал.

— У нее, кажется, небольшой дефект. Она как будто была сломана, — сказал я, чтобы вообще что-нибудь сказать.

— Конечно, у нее небольшой дефект, — Крал обиделся, что я заметил недостаток, а не преимущество. — Но вам и в голову не придет, что в Бельгии во время войны немцы надпечатывали на два франка пятьдесят сантимов только германские марки стоимостью, равной двум имперским маркам! Между тем эта надпечатка здесь сделана на марке стоимостью в одну марку. Одну! Вот в чем дело, мой милый. Ошибок такого рода существует лишь 13. И то это, имейте в виду, уже гашеные, использованные марки. А вот неиспользованных существует во всем мире только две. Одна находится в коллекции Берлинского музея министерства почт, а вторую вы видите перед собой, она моя. Заметьте себе, она не сломана, а только надломлена. Это крайне важно. Ее нашли в кармане у германского шпиона, а там ей, надо полагать, не было уютно. Но зато ее подлинность заверена. В качестве доказательства у меня имеется судебный приговор, по которому первый ее владелец был расстрелян. Следовательно, относительно ее сомнений быть не может, а вот о марке в берлинском почтовом музее этого, мне думается, сказать нельзя. Там могли

ее изготовить сами. Вот каковы дела, филателист вы мой...

Обиженный Крал продолжал перелистывать страницы альбома, поучая меня, помогая разобраться в интересных различиях марок, относящихся к периоду оккупации Бельгии в 1914—1918 гг., так как заметил значительный пробел в моих познаниях. Но я прервал его. Шпион, приговор, расстрел — а он толкует мне о каких-то там сдвинутых буквах и цифрах в этих надпечатках!

Я засыпал его вопросами: где он обнаружил эту марку, что он знает о шпионе, можно ли взглянуть на приговор. Последовал путанный рассказ Крала, он все время перепрыгивал через пятое на десятое, все эти вещи казались ему посторонними и не очень интересовали его.

Сначала он рассказал кое-что об офицере французской разведки, служившем после войны в прирейнской области. Эту марку, цена которой тогда еще не была в полной мере ясна, офицер обменял у Крала на хорошую серию *Posta Československá* 1919 г., являвшуюся тогда отличным материалом для обмена. В чем-то он выиграл, потому что марка все же была надломлена. Впрочем, Крал умеет славно чинить и более тяжелых марочных калек. Лишь после этого он поведал о том, как французский майор открыл эту редкость.

Если в моем рассказе имеются упущения, то виноват в этом мой друг, не сумевший складно передать повествование француза. Мне хотелось все уточнить, найти офицера, поговорить с ним, но мой ограниченный коллекционер не запомнил даже имени французского офицера.

— Ну забыл, и все тут. Пойдите, пойдите, я кажется припоминаю... Его фамилия напоминала название какого-то музыкального инструмента... Гм, но какого...

Я назвал ему все музыкальные инструменты, пришедшие мне в голову, надеясь, что он вспомнит фамилию.

— Скрипка, виолончель, контрабас, флейта, литавры, тамбурин, тамтам, фагот.

— Гм, что-то вроде фагота...

И это было все. Я вынужден был довольствоваться рассказом Крала, который я выкачивал из него в течение нескольких дней. Далее Крал показал мне заверенную копию судебного приговора, подаренную офицером в придачу к марке и яснее ясного доказывающую ныне подлинность этой редкости. Наконец, я видел марку, сломавшуюся пополам в кармане германского шпиона. Следовательно, я могу построить свое повествование об этом событии, стараясь передать его так, как оно звучало в устах француза. Бьюсь об заклад, что он не примешивал в него филателистические поучения, которыми Крал переплетает и путает каждую свою историю.

Так вот, если я правильно передаю это происшествие, то оно в устах француза выглядело примерно так:

«В ночь на 14 июня 1917г. окопы 11-го полка легких стрелков были атакованы недалеко от Берри о Бак превосходящими силами немцев. Кроме нескольких квадратных километров, полк потерял почти восемьсот человек, однако задуманный в этом месте прорыв немцам не удался. Разбитый одиннадцатый полк отвели в тыл, его место занял другой, свежий, начавший сразу контратаку, и уже девятнадцатого утром вся потерянная территория была возвращена назад. (Эти точные, почти исторические данные получены мною от Крала. Они выписаны из обоснования судебного приговора, так что они вне сомнения.)



При занятии потерянной и вновь завоеванной территории случилось нечто странное. Наши солдаты (не забудьте, что у меня вместо Крала рассказ ведет французский офицер) нашли в промежутке между окопами обеих армий в воронке, образованной тяжелой гранатой, стрелка одиннадцатого полка, голодного, грязного и заморенного. Он рассказал, что во время атаки немцев спрятался в этой воронке, расположенной примерно посередине между нашими и немецкими линиями, т. е. на нейтральной территории. Этот стрелок, якобы, целых пять дней и ночей не отваживался высунуть голову, чтобы ее не снесла одна из гранат, которыми обменивались обе армии. С ним не было ни винтовки, ни патронов, даже ранец он бросил бог знает где. Он сказал, что его зовут Канивет, он стрелок одиннадцатого полка и родом из Йонвиля.

Только что прибывший на позиции полк встретил его веселыми и беззлобными насмешливыми приветствиями. Его положение— пять суток на животе на дне воронки— казалось всем каким-то комическим героизмом. Врач заявил, что он настолько ослабел, что лишь через несколько дней сможет отправиться вдогонку за своим одиннадцатым полком, который вновь формировался где-то недалеко от Парижа. Пока что Канивета пихнули в полковой перевязочный пункт, где его кормили и поили удвоенными порциями. За это он охотно рассказывал поварам о страшной ночи, когда внезапно на окопы одиннадцатого полка кинулось не меньше половины германской армии во главе с самим кронпринцем. Понятно, что все покатывались со смеху. Но Канивет переносил это настолько снисходительно и покорно, что старший санитар перевязочного пункта (ранее отец-провизор Павланского монастыря в Бельгии — эту подробность я опять-таки почерпнул из судебного акта) первый заявил, что Канивет, скорее всего, полковой дурачок, и они будут благодарны, когда он возвратится к ним. Канивет целыми днями да и большую часть ночи (он жаловался на бессоницу) просиживал перед избой, где врач держал своих больных. Тупо и без всякого видимого интереса глазел он на широкое шоссе, по которому как раз происходило передвижение огромных армий, надеявшихся тогда, весной семнадцатого года, выгнать немцев за пределы Франции.

Однако на третий день Канивета привел ночью к санитару молодой лейтенант артиллерии. Он заявил, что будто бы Канивет выспрашивал у артиллеристов, шагавших за тяжелыми гаубицами, направление их следования, цель и еще нечто подобное. Отец-

провизор, извините старший санитар, не хотел верить, что полковой дурачок и вдобавок еще полностью обалдевший от перенесенной голодовки был способен интересоваться такими вещами. Но молодой лейтенант настаивал на своем и приказал двум своим артиллеристам отвести милого Канивета в штаб полка, который оказал ему временное гостеприимство. Лейтенанта можно было понять. Голова его была еще забита инструкциями, вынесенными им недавно из школы. Согласно этим инструкциям всякий излишне любопытный подозрителен.



Командир поблагодарил и отпустил пылкого лейтенанта, а беднягу Канивета, о голодовке которого уже рассказывались анекдоты, так что он стал как бы одним из трофеев полка, он угостил папиросой и велел ему лечь в караульной, решив про себя послать его утром обратно к врачу. К несчастью, во время утреннего рапорта командир за неимением других происшествий неожиданно для себя доложил об этом приключении героя из воронки.

Благодаря этому дело внезапно приобрело служебный характер, и мне поручили его расследовать. (Прошу не забывать, что рассказ ведет французский майор разведывательной службы, которого звали Фагот или Фагет, а может быть, как-нибудь иначе.) Я сразу же затребовал по телефону, чтобы Канивета под надежной охраной привели в штаб дивизии. После обеда я таки заполучил «подозрительного», которому добросердечный полковник сунул еще одну папиросу на дорогу.

Канивет распространялся только о своем пятидневном мученичестве, и было нелегко заставить его говорить о деле, из-за которого возникли судебные неприятности. Он отрицал все. Попросил, будто бы, у артиллеристов кусок хлеба, потому что был страшно голоден ночью. Ничего другого не удалось из него выкачать. Это выглядело, при его слабом развитии, весьма правдоподобно. Больше лишь по долгу службы, нежели из-за какого-то подозрения, я запросил у одиннадцатого полка характеристику их Канивета и какие-нибудь сведения о нем. На другой день я получил по телеграфу довольно точную характеристику Канивета, находившегося под стражей. Совпадали и имена отца и матери с теми, которые он назвал мне, и, кстати, было отмечено, что Канивет никогда не изобрел бы по-

роха. Тогда я решил, что отошлю Канивета в его полк, хотя бы уже потому, что он все еще не был сыт, и даже в заключении добивался удвоенных порций. Ради проформы еще раз приказал осмотреть его мундир, просто, чтобы сделать протокольную запись.

Канивет разделся. Мой унтер-офицер прощупал все швы его Одежды и вывернул наизнанку его карманы. Канивет сидел при этом, повернувшись ко мне спиной, и безразлично болтал ногами. В карманах оказалось только изрядное количество хлебных крошек, припрятанных Каниветом. Внезапно унтер-офицер нашел во внутреннем кармане его военной гимнастерки маленькую свернувшуюся бумажку, как-то вклинившуюся в угол кармана среди крошек, грязи и рассыпанного табака. Унтер-офицер подал мне бумажку. Я развернул ее и увидел, что это чистая неиспользованная немецкая марка с франковой надпечаткой, какими пользовались в оккупированной Бельгии. Я приложил палец к губам, давая понять унтер-офицеру, чтобы он молчал. Пока я раздумывал над этой странной находкой, Канивет продолжал равнодушно болтать ногами.

Это была одномарковая красная марка, надпечатка подняла ее стоимость до двух франков пятидесяти сантимов. Клей на ее оборотной стороне отсырел, она свернулась в узкий цилиндр и могла в таком виде оставаться незамеченной в углу кармана. Но как она туда попала? Возможно, путь ее сюда, в уголок кармана, был очень сложен. Но более сложно и фантастично было следующее: обладатель новой неиспользованной марки должен был купить ее на территории за немецкими окопами, где ее продавали. Значит, хозяин должен был передвигаться в немецком тылу и придти оттуда. Таким образом, он не мог быть французским солдатом Каниветом, не вылезавшим в течении пяти суток из воронки.

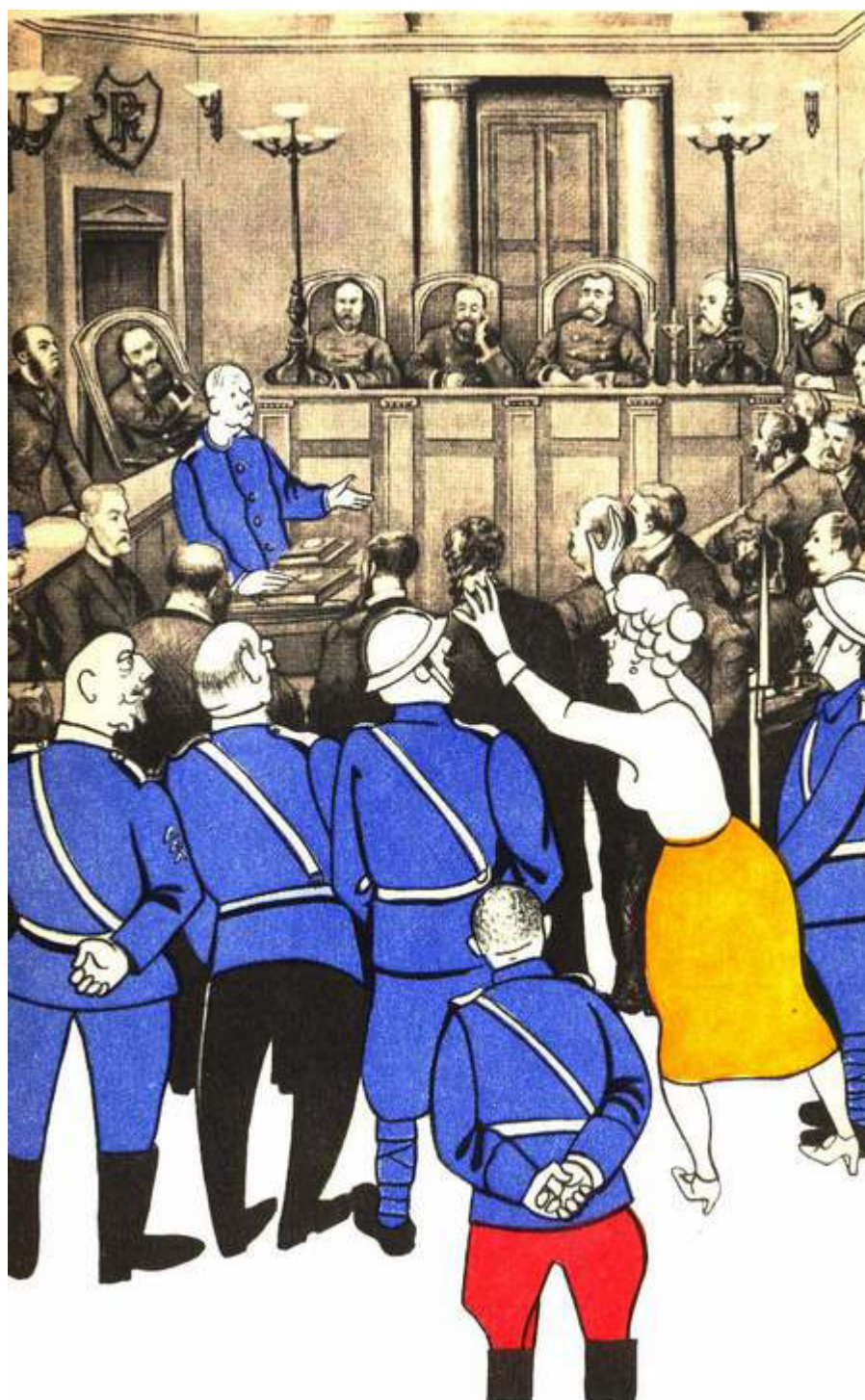
Напрашивался вывод — человек на стуле, беззаботно болтавший ногами, немецкий шпион.

Я накрыл марку пресс-папье и приказал Канивету одеться. Потом подверг его новому допросу. Он знал имена своих товарищей, командиров, помнил места, через которые прошел его полк и где он воевал. В его речи слышался диалект Пикардии, откуда он происходил. Значит, ничто не делало его подозрительным, кроме этой марки. Я подумал, что человек, находящийся передо мной, должен быть необыкновенно интеллигентной личностью, чтобы столь отважно разыгрывать со мной эту комедию. Или это был в самом деле глупец, дурачок одиннадцатого полка, как сказал санитар, отец-провизор, который уже дал свои показания. А марка попала к нему в карман каким-то самым неправдоподобным путем.

Я попытался даже помочь ему. Спрашивал, в самом ли деле он, такой голодный, не выходил все эти четыре или пять дней из своего убежища. Скажем, за едой. Не копался ли он в брошенном ранце какого-нибудь солдата или, возможно, в карманах убитого, лежавшего неподалеку? Короче, я навязывал ему всевозможные отговорки, которые он мог бы позднее придумать сам. Но он отрицал все, непонимающе глядя на меня.

Я положил перед ним марку. Он сделал вид, будто не знает, что это такое. Не знает, как она попала к нему в карман. Неуклюже пытался утверждать, будто ему кто-то из нас ее подсунул. Но таким образом меня нельзя было провести. Я не только четыре года работал в контрразведке, но был и старым филателистом. Я отлично знал, что совсем недавно, возможно до прошлой недели, в оккупированной Бельгии для надпечатки в два франка пятьдесят применялись только двухмарковые марки. Использование для этой цели одномарковой германской марки является новостью, насчитывающей, быть может лишь несколько дней. Мы, филателисты, были и тогда, во время войны, хорошо информированы о каждом движении неприятельской почты. Я объяснил ему, что новейшая германская марка не могла попасть во французский тыл никаким более быстрым путем, кроме одного: он сам должен был ее доставить. Я сказал ему это по-немецки, которым владею отлично, но он слушал и смотрел на меня непонимающе, так, будто я внезапно рехнулся.

Однако мне все это было ясно. Это был шпион. Я распорядился отправить Лжеканивета в Париж, в военный трибунал...



И вот он стоит перед трибуналом. Видно было, что я ввел военного прокурора в страшное замешательство. Об этом свидетельствовал обвинительный акт, в котором, кроме обвинения, которое выставил я против Канивета, не говорилось ни слова. Следовательно, и в зале суда продолжалась моя дуэль с этим Каниветом.

На судебное разбирательство вызвали и артиллерийского лейтенанта, обрадованного тем, что он пробудет два дня в Париже. Он привез с собой показания артиллеристов, утверждавших, что Канивет начал разговор с просьбой поделиться с ним хлебом, но потом стал расспрашивать о вещах, до которых ему не было дела. Были вызваны единственные два солдата его взвода, оставшиеся в живых после жуткой ночи у Берри о Бак. После минутного колебания они узнали Канивета, но он не узнал их, и суд мог одновременно убедиться, что Канивет не может припомнить некоторые важные подробности их совместной жизни. Ну, это можно было отнести за счет не слишком развитого интеллекта. Вызвали и

его мать. Тут представитель обвинения попробовал осуществить один трюк, выглядевший хоть и театрально, однако дающий возможность выявить личность Канивета. Когда вызвали мать Канивета, надзиратель всунул за барьер для свидетелей прислугу, убиравшую на лестнице в судебном здании. Мы ожидали, что Лжеканивет при слове «мать» вскочит, подбежит к ней и будет уличен. Прокурор даже спросил, узнает ли он свою мать. Канивет был в страшном смущении, можно сказать, в отчаянном смущении, вел себя странно. И все же заметил, слегка заикаясь, что его мать высокая и худая. А наша прислуга, которую надзиратель случайно поймал на лестнице, была самая дородная уборщица. Тогда вошла подлинная мать Канивета. Высокая, худая. Еще раньше, чем суд обратился к Канивету с вопросом, она бросилась к нему на шею и заплакала, повторяя: «Сынок мой, сынок мой!». Она не видела его уже три года. Потом она признала, что он изменился. Сильно изменился. На улице она бы его, возможно, и не узнала. Суд напряженно слушал. Так в чем же он изменился? Она отвечала, что, возможно, виновата здесь новая прическа, он не носит теперь такие длинные волосы, как носил дома. Все чуть не прыснули: естественно, что он как солдат был наголо острижен. Моя позиция выглядела отвратительно.

А потом говорил я. Мне думается, что я блестяще изложил все материалы моей экспертизы. Германская марка с надпечаткой для Бельгии лежала меж двух стеклышек перед судьей, и для меня это был *corpus delicti*, заставляющий отбросить всякие сомнения. Я суммировал все, что могло быть неясным о настоящей личности Канивета, заметив, что его показания о своей прошлой жизни не больше того, что может какой-нибудь, правда, очень интеллигентный работник военной разведки узнать за пару часов у пленного. Я высказал свою гипотезу, что подлинный Канивет был взят в плен, а какой-то немецкий разведчик нашел, что он похож на него и использовал это сходство. Так он попал за наши линии, решив, что если его поймают, то он прикроется этим сходством. На его счастье, ему не понадобилось запоминать многочисленные сложные подробности, потому что он натолкнулся на ограниченного парня с убогой памятью. Так, например, о своей матери Канивет, видимо, мог поведать только то, что она высокая и худая. Никаким другим способом, кроме моей гипотезы, нельзя было объяснить, как очутилась неиспользованная германская марка в кармане Канивета. Шпион купил ее где-то в Бельгии, положил в карман и забыл о ней. Эта мелочь ускользнула от него, чтобы под конец его выдать.

Друзья говорили, что я выступил логично, убедительно. Собственно, обвинителем был я, потому что прокурор лишь вяло присоединился к моей аргументации. И она убедила суд. Канивет был осужден к расстрелу как «неизвестный германский шпион». Приговор вызвал много шума. Все же у многих не было уверенности насчет Канивета.

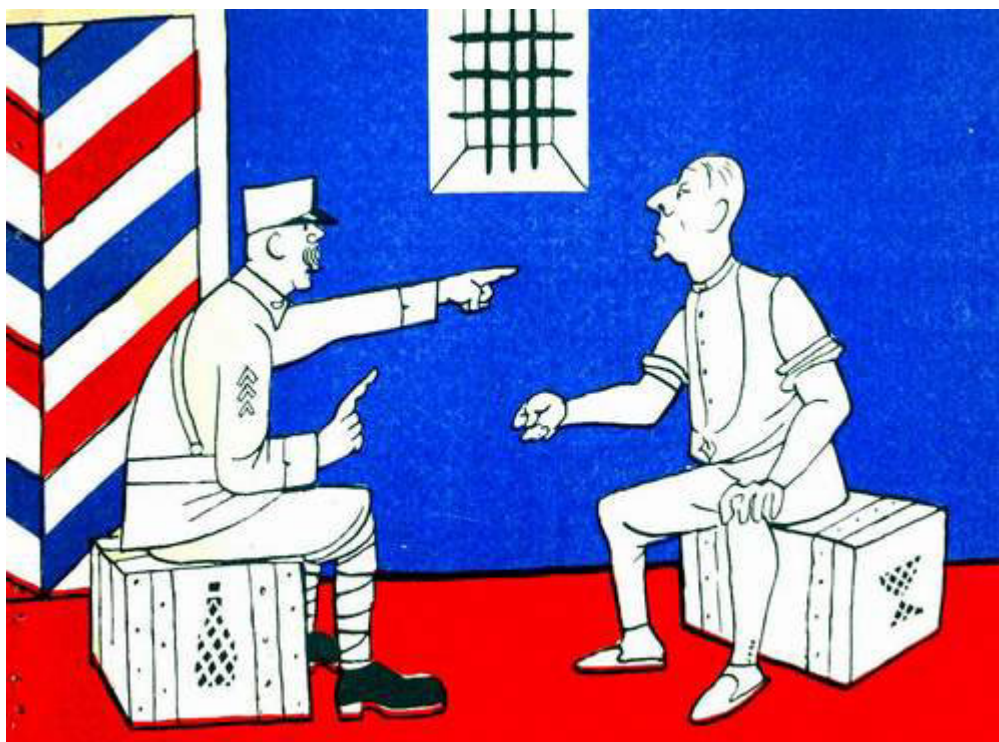
Меня покинула уверенность только после того, как я отделался от поздравлений знакомых и похвал начальника и очутился наедине с собой, в номере гостиницы. И, должен признаться, что она покинула меня полностью. Пока я стоял лицом к лицу с Каниветом, я говорил себе: «Это не Канивет, а некий германский офицер, такой же способный, как я, или даже еще способнее — судебный процесс был борьбой равноценных соперников». Однако теперь, когда Канивета увели в его камеру, он брел шагом тупицы, будто все еще не понимая, в чем дело. Когда я не видел его и говорил себе, что уже никогда его не увижу, все выглядело совсем по-другому. Внезапно я спросил себя, не были ли все мои дедукции в связи с этой маленькой красной маркой простой бравадой. Разве можно допустить, чтобы человеческая жизнь зависела от маленького клочка бумаги? Разве не было гораздо более важным свидетельством, что его узнала мать, узнали товарищи и что он столько знал о подлинном и несомненном Канивете?

Само собой, я не ложился в эту ночь, а ходил непрерывно по комнате. Сомнения одолевали меня. Наконец, я пришел к твердому убеждению, что осужденный Канивет не кто иной, как подлинный Канивет, этот придурковатый солдатик одиннадцатого полка, всю войну ищущий только, где бы чего пожевать. Теперь я твердил про себя и убеждал себя, что такая тонкая игра и притворство просто невозможны, невероятно такое подражание дурачку. Нельзя было забыть этот последний недоумевающий взгляд, которым он

окинул все вокруг, когда ему выносили приговор.

И вот незадолго до полуночи я решил посетить председателя суда и взять назад свои доказательства. Пусть мне это испортит карьеру, пускай выставлю себя на посмешище. Только бы не стать причиной смерти невинного дурачка.

Такси достать не удалось. Впрочем, времени было достаточно. Казнь была назначена на три часа утра. До нее весь состав суда должен был опять собраться, чтобы вновь прочитать осужденному приговор. Значит, в тюрьме я застану и председателя. И хотя времени было достаточно, я бежал, а не шел по совершенно темным парижским улицам к военной тюрьме. В час ночи я уже стучался в ворота тюрьмы. Меня немало удивил открывший мне надзиратель. Он сказал, что мне звонили в гостиницу, что осужденный просит, чтобы ему разрешили поговорить со мной перед казнью. Ему не отказали в этом.



Начальник тюрьмы привел меня в камеру осужденного. Там лежал на нарах человек, поднявшийся, когда начальник и надзиратель вышли.

Нет. Это не был Канivet. Вернее, это был уже не тот Канivet, которого приговорили сегодня к казни, Канivet с невинным лицом глупца из Пикардии. Этот человек стоял прямо, с лица пропала широко растягивающая его какая-то неловкая улыбка. Наоборот, оно было стянуто, сдержанно, умело натренированно, по-видимому, очень энергичным человеком. У него были спокойные, холодные, как сталь, глаза. Он показал мне жестом руки на единственный стул и сказал по-немецки: — Bitte, setzen sie sich! ⁵⁾

Да, это был германский разведчик, и я правильно разоблачил его! Значит, никакой кривды, никаких лишних домыслов, никакого несчастного бедняги не существовало. Я был так благодарен осужденному за то, что он открылся мне, что мне захотелось внезапно пожать ему с признательностью руку. Даже бурно обнять или еще как-нибудь проявить свою удовлетворенность. Я всей душой расположился к нему. Скажу прямо, что до сих пор я ни к кому не чувствовал еще такой внезапной и дружеской привязанности. Он стал мне вдруг так близок, как будто никто никогда не относился ко мне так щедро и благородно. Я не знал, как благодарить его за эту, в сущности, простую вещь, за то, что он оказался тем, за кого я его принимал. Он неожиданно вернул мне веру в себя, в мой разум, в человечество, в справедливость, а возможно, и в бога. После долгих часов сомнений я снова стоял твердо и уверенно на земле.

Заклученный дал улечься моему изумлению и снова предложил мне сесть. Сам он присел на нары. На столе стояли нетронутые миски с едой и бутылка вина.

— Игра проиграна. Сейчас мне не остается ничего другого, как просить вас о большой любезности. Надеюсь, что вы не откажете мне. Хотя бы уже потому, что я офицер германской разведки и мы, так сказать, коллеги.

— Я сделаю все, что возможно, — негромко произнес я.

— Мне думается, что вы мне тоже немного обязаны. Если бы я не признался вам, вы, быть может, испытывали бы сомнения, не казнили ли вы все же невинного Канивета. Вы мучались бы так долго, покуда он не вернулся бы из лагеря военнопленных, где он, надо полагать, спит сейчас беззаботным сном. Марка в моем кармане — это обличение только примерно на десять процентов. Остальные девяносто пали бы, возможно, вам на душу и давили бы. Первоначально, сразу после приговора, я решил, что вы заплатите за мою смерть долгими угрызениями совести. Но я не могу позволить себе роскошь мести. Эта же марка, благодаря которой вы меня уличили, вынуждает меня теперь обратиться к вам, ожидая милостивой помощи.

...Осужденный поведал, как долго он готовился перейти границу, чтобы добыть специальную информацию о наших передвижениях, как постоянно искал подходящего способа. Наконец, унтер-офицер обратил внимание на его сходство с пленным французом, попавшим к ним в руки. Тут ему пришла в голову мысль осуществить этот ухарский поступок. Он забрал милейшего Канивета, усадил его в машину и отправился с ним в Шарлеруа, где находился начальник его отделения. Там он доложил о своем плане и попросил одобрить его. Он хотел проскользнуть где-нибудь через французские окопы в мундире Канивета. В главном штабе ему облегчили его замысел. Ему сообщили, что территория перед Берри о Бак будет оставлена немецкими войсками, потому что ее невозможно удерживать. Он сможет через нее пробраться во французский тыл в облике Канивета. До этого он подержал два дня Канивета у себя, кормил его в офицерской столовой и как следует о многом расспросил его, а главное, изучил его повадки. Усвоил даже кое-что из его диалекта. И продумал до последней мелочи свое превращение.

Все произошло, как было намечено. За несколько часов до отступления немцев — в ночь на девятнадцатое июня — разведчик спрятался в воронке от взорвавшейся гранаты. Он был так похож на Канивета, что их нельзя было различить. Попав в наш полковой перевязочный пункт, он сразу же на другой день принялся наблюдать за нашими передвижениями. Когда он соберет достаточно разведывательных данных и когда его захотят вновь послать в одиннадцатый полк, рассчитал он, то снова проскользнет в германские окопы. И все удалось бы полностью, если бы...

«...если бы у меня не было жены и двоих сыновей. Я знал, на какое предприятие пускаюсь, и там, в Шарлеруа, когда я готовился в этот поход, я написал жене обстоятельное письмо, собственно, свое завещание. Я писал ей, чтобы она ни за что не отказывалась от своей земельной собственности. Видите ли, у меня скверное предчувствие, что война вызовет много изменений в имущественном положении. Написал я ей также, что желал бы, чтобы мои сыновья были воспитаны не в авантюристском духе, а чтоб они стали инженерами, врачами, учителями или фермерами, но ни в коем случае не офицерами, не солдатами. Если со мной что-нибудь случится, пускай она спокойно снова выходит замуж, когда найдет человека, доброго к ней и к мальчикам. Но большую часть моего длинного письма составляли подробные советы относительно нашего имущества. Я должен был быть спокоен за будущее своих детей, если бы я уже не мог заботиться о них.

Я, понятно, не пользовался полевой почтой. Денщик принес мне марку для письма. Я надел мундир Канивета, напоследок несколько раз затянулся хорошей сигарой и сошел вниз к автомобилю. Письмо я положил в нагрудный карман и по дороге сам опустил его в почтовый ящик. Когда мы уезжали из Шарлеруа, был уже поздний вечер. Я не опасался, что удивлю кого-нибудь видом выходящего из автомобиля грязного французского военнопленного. Я продолжал выполнять свои обязанности с сознанием, что доверил свое за-

вещание точной и добросовестной машине — немецкой почте.

Через несколько часов я был на месте, и потом, перед рассветом, когда наши согласно приказу покидали недавно захваченные позиции, меня нашли французы, и все шло отлично. За исключением одного: я должен был обедаться вашей отвратительной солдатской едой в доказательство того, что я четверо суток голодал в подземной дыре. Я был спокоен до того момента, когда вы развернули передо мной марку, отклеившуюся, как я сразу догадался, от письма и застрявшую у меня в кармане. Туг я почувствовал, что пришел мой конец.

Я еще продолжал разыгрывать свою роль, хотя уже знал, что игра полностью проиграна мною. И даже вдвойне проиграна. Я проиграл вам, потому что вы уличили меня найденной маркой. И, что еще хуже, из-за этой марки я проиграл все, что осталось бы после моей смерти: будущность жены и детей. Я был уверен, что жене не с кем будет посоветоваться, она будет в смятении ждать моего возвращения, а когда дадут о себе знать экономические последствия войны, останется с детьми в нищете. Ведь письмо, в котором я советовал ей, как вести себя, без марки никогда не попадет ей в руки. Почтовая машина работает точно и надежно, даже слишком точно, когда ею управляют немцы, а тем более на оккупированной неприятельской территории. На почте письмо без марки согласно инструкции будет беспощадно исключено из доставки и выброшено. Оно несло спасение трем человеческим жизням, но на нем не было удостоверено маркой, что государству заплачено несколько предписанных пфенингов за это послание.

Так я продолжал играть роль Канивета с напрасной надеждой на спасение, и я доиграл ее до самого конца только из профессионального самолюбия, желая довести до конца борьбу с французской смекалкой. Однако внутренне я ясно видел свою смерть. Ее тень протянулась и падала на моих близких, оставленных дома.

Но все это не игра, это чудовищная реальность, и поэтому я попросил вас прийти. За мое признание, несомненно облегчившее вашу совесть, прошу вас предоставить мне два листка из вашей записной книжки, карандаш и четверть часа тишины. Я напишу своей жене письмо, приказ, настоятельность которого будет подтверждена моей смертью. А вы будете столь милосердны и перешлете его ей. У вас, несомненно, имеется возможность переслать ей мое письмо и через вражескую границу и сделать это более надежно, чем любая почта на свете».

...Я согласился. Ему понадобилось не два листка из моей записной книжки, а листов двадцать, и писал он не четверть часа, а значительно дольше. Он вложил мне в руки свое послание как раз в тот момент, когда в коридоре послышался грохот окованных сапог конвоя, который должен был отвести его на место казни. Я взглянул на адрес, указанный на последнем листке, подал ему руку и сказал:

— Я отправлю письмо».

Так закончился рассказ о марке, которую Игнац Крал ценит настолько; что уложил ее в альбоме в прозрачный конвертик, как укладывают обычно самые драгоценные экземпляры филателистических коллекций. И по праву. Ведь ее стоимость — человеческая жизнь.



Colonia Popper

Господин Крал приводил в порядок старинные австрийские и венгерские марки с так называемыми почтмейстерскими штемпелями. Стол был уже завален кучками ветхих и пожелтевших писем, и Крал с улыбкой оглядывал их. Он увидел вечность, втиснутую в небольшие бумажные четырехугольники. Перед Кралом собрались в кучки письма восьмидесятилетней давности. Именно так, восемь десятков лет назад, они лежали на какой-то старой почте перед определенным почтмейстером, готовые к отправке. В зависимости от различия штемпелей, которые господа почтмейстеры изготовляли кустарным способом, — отсюда их название, — можно было теперь узнать, с какой почты и какой почтмейстер отправлял их. Можно было даже догадываться о характере каждого из этих старых, почти допотопных начальников почт: экономный, даже скупой, берегавший краску, так что оттиски его штемпелей почти полностью поблекли, или наоборот, если он подливал столько масла в краску, что промаслил половину конверта; небрежный — часто забывал менять число; педант — ставил штемпель всегда точно на одно и то же место; фантазер — ставил их так, что они образовали различные узоры; человек с художественным вкусом — изготовил себе очень изящный штемпель; старый чудака — пользовался вместо штемпеля пробкой, взятой со стола.

Крал, видимо, чувствовал все это своеобразие, воплотившееся в штемпелях.

— Ныне филателия потеряла весь блеск и все сияние романтики. Коллекционеры считают, что им не подходят детские глупости, как детские штанишки. Насколько больше наслаждения получают мальчишки-коллекционеры! Они собирают марки из-за их странности, а не из-за их обыкновенности. Мальчишку тянет к маркам, потому что на каждой другая картинка, зверюшка, город, судно, король, негр, индейцы, гербы, карты, порты; потому что у них самые различные цвета и незнакомые буквы, золотые и серебряные рамки; потому что они или очень большие, или совсем маленькие, и встречаются даже треугольные; потому что у них таинственные водяные знаки. Наконец, еще интересно то, что они выклянчены, получены благодаря хитрости или в виде подарка, а то и куплены на деньги, предназначавшиеся для тетрадей. В каждой из них — кусок

на деньги, предназначавшиеся для тетрадей. В каждой из них — кусок мальчишеской романтики, жажды необыкновенной неизведанной жизни, ожидающей парня, захватывающей и удивительной. Куда до них взрослым коллекционерам! Те сами гордо называют себя «серьезными коллекционерами», да и в самом деле, они самый усидчивый народ на свете, расчетливые регистраторы, односторонние брюзги, повторяющие, собственно, до скуки официальные списки изданных марок. Им недоступно очарование, вызываемое вещами, которые без участия фантазии выглядят простыми клочками бумаги. Крал закончил свою тираду и одновременно работу. — Жду не дождусь, когда я увижу вашу редкость.

— Какую редкость?

— Когда вы раскроете мне, на что нацелено ваше предисловие? Вы здесь высказали кое-какие общие рассуждения. И, конечно же, о чем бы вы ни говорили, созерцаете ли вы бесконечность вселенной, течение истории, круговорот звезд, радость и боль человеческих сердец, вы всегда смотрите на все это из одной неподвижной точки. Это всегда какая-нибудь марка. Почти всегда из ваших запасов. Так вот я жду, когда вы покажете мне эту марку.

Тогда Крал открыл свой бельевой шкаф. Из неглубокого ящика, предназначенного для галстуков, вынул пачку конвертов. Взял оттуда и подал мне один из них. Письмо было оплачено аргентинскими марками девяностых годов и еще какой-то маркой красного цвета. Таких марок, как эта поблекшая марка, я еще никогда не встречал. Крал показал пальцем как раз на нее.

— Я говорил об этой марке. Ни в одной сказке не заключено столько фантазии. Если в вас живет хоть капля мальчишеской романтики, то вы купите ее. И дадите мне за нее пятьдесят крон. Несмотря на то, что она ничего не стоит сейчас, мы вашими пятьюдесятью кронами поможем одному бедняку.

— Отлично. А получу я в придачу ее историю?

— Вместе с историей она стоит сто крон. Вы не пожалеете. Марка и ее история стоят этого вполне.

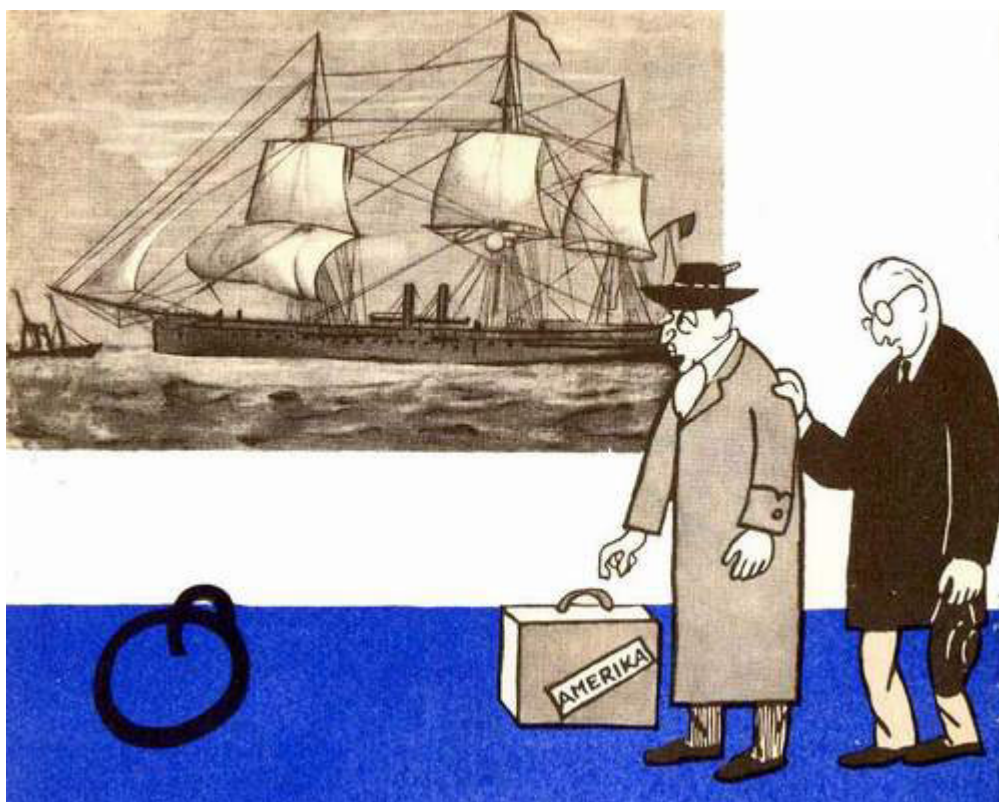
Я утвердительно кивнул, и господин Крал начал свой рассказ. На сей раз он протекал связно, что бывает очень редко.

— Мой друг Поппер, о котором я буду рассказывать, жил подаяниями, которые выпадают на долю бедного еврея. Это — бедственная жизнь, хотя, ей-богу, еще хуже быть бедным христианином. Голова господина Поппера, словно адресная книга, была полна адресов всех имущих пражских евреев, и эта адресная книга была его средством производства. Согласно ей в зависимости от того, когда богатые евреи женились, рожали, праздновали присуждение докторской степени, наследовали и зарабатывали на бирже, Поппер писал им просительные письма. Верности ради он самолично разносил их по конторам и магазинам. Кроме того, в будние дни он являлся в синагогу в качестве десятого набожного еврея (чтобы на молитве присутствовало предписанное количество верующих), получая за это десять крейцеров — это было в конце восьмидесятых годов. Профессия шнорера⁶) и набожного еврея в его лице как-то удачно уживались и взаимно дополняли друг друга.

Я был тогда еще мелким начинающим чиновником. Попперу шел уже четвертый десяток. Он знал лично всех богачей, о которых в коммерческом мире говорили, как о полубогах. Поэтому я очень ценил знакомство с ним. Поппер не был слишком говорлив и общителен. Наше знакомство ограничивалось, главным образом, тем, что он писал на моем ночном столике свои письма и грелся у моей печки. Бедняга жил в этом же доме под самой крышей, в комнате, где не было печки.

Обычно, когда он заходил ко мне, мы перекидывались с ним несколькими словами о погоде и о заработках. После этого я углублялся в свою коллекцию, а Поппер, если ему нечего было делать, вытаскивал из кармана потрепанный томик библиотеки Реклам и принимался за чтение. Это была его единственная книга — немецкие стишки румынской

королевы Кармен Силвы с портретом автора после титульного листа, — и он всегда носил ее с собой. Всякий раз, когда он читал мне и пояснял стихи коронованной поэтессы, то впадал в какое-то мечтательное состояние и его взгляд словно уходил в бесконечность. А так как у меня в комнате бесконечность была ограничена, то он смотрел в угол, где стоял умывальник. Он любил Кармен Силву.



Как-то я показал ему на румынских марках супруга поэтессы. Тогда Поппер подстриг свою ежистую бороду согласно образцу бородки Карла I в школе будущих парикмахеров, конечно, бесплатно.

Мы были знакомы уже с год. Однажды, в июле, он пришел ко мне крайне опечаленный.

— Нам придется расстаться, господин Крал. Я уезжаю в Америку.

— Что это вам взбрело в голову?!

— Мне ничего не взбрело в голову. Зачем мне должно взбрехать что-нибудь в голову? Я и здесь всем доволен. Но председатель еврейского благотворительного общества господин Гринфельд — он торгует недублеными и дублеными кожами — подсчитал, что я обошелся здешним евреям только за этот год в четыреста одиннадцать гульденов, и он считает, что я самый большой шнорер во всей Праге. Он сказал, что теперь мне уже никто не даст ни одного крейцера, но господа сложатся и пошлют меня в Америку. Возможно, что они дадут мне на дорогу десяточки две, чтобы у меня было кое-что для начала...

— Что ж, Америка, — подбодрял я беднягу, — это не так уж плохо.

— Если бы это была Америка! Но посылают меня в Южную Америку. Гринфельд сказал, что в той, настоящей Америке достаточно евреев, и они бы хорошенько отблагодарили нас, если бы им из Праги прислали впридачу как раз такого шнорера, как господин Поппер.

— О, так Южная Америка еще лучше, — утешал я Поппера, — там ведь растет кофе и какао, и если будет кое-что для начала, то вы легко найдете себе дело.

— Да это не настоящая Южная Америка! — горестно воскликнул снова Поппер. — Там столько евреев, что они не дали бы погибнуть своему человеку. А это — Огненная

Земля! Какой-то свекор господина Гринфельда посылает туда жезь для крыш через Гамбург, и меня повезут туда с грузом. Гринфельд сказал, что там нет еще ни одного еврея.

— Да ведь это же как раз страна, придуманная для вас, Поппер! Поезжайте туда, покажите, на что вы способны и не осрамите нас там.

Поппер начал готовиться к отъезду. Я не сумел дать ему на дорогу достаточно советов. Что я сам знал об Огненной Земле? То, что половина ее принадлежит Чили, а вторая половина Аргентине. Но я все же не позабыл посоветовать ему хорошенько следить там за марками и посылать их мне, а я буду их здесь продавать владельцам бумажных магазинов для юных потребителей, и таким путем у него всегда будет небольшое подспорье. Я дал ему на дорогу несколько воротничков, галстук и полдюжины носков. Это был неплохой подарок от бедного писаря.

Поппер уехал в августе, а в декабре я уже получил от него несколько строк. Он писал, что на Огненной Земле вообще никаких марок нет. До почты несколько сотен километров. Поэтому письма и плату за их пересылку передают владельцам судов, курсирующих вдоль аргентинского побережья, или индейцам, когда они отправляются через остров к чилийскому порту, и капитаны или индейцы сдают там письма на почту. Значит, он мне никаких марок не пришлет. Наконец, он сообщил, что купил себе золотой прииск и завтра начнет копать золото.



Итак, он копал золото и через некоторое время прислал мне даже свою фотографию, как доказательство того, что ему неплохо живется. Хватило же у него денег на фотографа, наверняка, дорогого в тех краях. Писал он немного. Поппер вообще с трудом и неохотой писал что-либо другое, кроме просительных писем. Но фотография поведала о нем лучше, чем кипа писем. На ней был изображен чисто выбритый, моложавый и жизнерадостный человек, совсем другой породы, нежели пражский, в широкополой шляпе и кавалерийских сапогах, а за поясом — обратите внимание! — торчал даже пистолет! О его белой, чистой рубашке с платочком вокруг шеи я уже даже не говорю. Следующее письмо пришло примерно через два месяца. Поппер писал, что добывание золота из земли не является лучшим предприятием для единственного еврея на Огненной Земле. Поэтому он берется за коммерцию. Через некоторое время он снова сообщил, что хотя он уже занялся торговлей,

но он задумал одно дельце, которое поразит не только меня, но, возможно, и весь мир.

С того дня, как я увидел его новый облик на фотографии, заботы о Поппере больше не волновали меня. Я не стал ломать голову над тем, какую он там, на другом полушарии, готовит авантюру. Но он не ошибся. Он поразил меня. А именно: следующее письмо имело на конверте, кроме аргентинской марки, еще одну, незнакомую мне. Она лежит перед вами: цвета киноленты, в середине, в горящем солнце, большое Р, за ним скрещены мотыга и молот и лента с надписью Tierra del Fuego. Цена десять сентаво. Внизу имя художника Rudolf Soucoff. В самом деле, я был растерян. Чтобы не оставалось никаких сомнений насчет значения буквы Р в середине марки, ее обрамлял круглый штемпель со словами Colonia Popper. В конверте я нашел листок с одной фразой: «Удивлены, господин Крал?». Больше ничего.

Еще бы не удивляться! Как могло моему Попперу так посчастливиться? Каким образом его маленькое торговое заведение стало столь воинственным, что перешагнуло границы цивилизованных стран и очутилось на территории, которую пионер, внесший ее на карту мира, мог назвать, как ему вздумается?! Неужто этот пражский нищенка, представивший ко всем и кланчивший, превратился в завоевателя, носителя цивилизации и колонизатора, когда ему выпал подходящий случай? Я мог сколько угодно недоверчиво качать головой, но марка и штемпель служили исчерпывающим доказательством.

В ответном письме я поздравил его и просил прислать несколько листов его марок и побольше конвертов, оклеенных марками и отправленных по почте. Весьма вежливо я посоветовал ему зарегистрировать почту своих новых территорий в Почтовом союзе в Берне. Таким образом, его частные марки станут марками со всемирным официальным значением. Ей-богу, я писал ему учтиво.

Колонизатор Поппер не забыл меня. Он прислал листы марок, посылал и письма со своей маркой. Рядом с ней были наклеены аргентинские или чилийские марки в зависимости от того, чья почта переправляла письма по морю. Обыкновенно я находил в конверте клочок бумаги, не очень чистой, с нацарапанным приветом. Я понимал его. Где доставать безупречную почтовую бумагу основателю новых колоний? У него были иные заботы. А то, что он посылает только приветы? Да разве может найти такой завоеватель время для многословной переписки! Наконец, я должен был понять отвращение этого делового человека к сочинению пустых писем, когда вся его прежняя деятельность состояла лишь в том, что он сочинял предлоги, которые тронули бы сердце богатых единоверцев.

В своих ответах я не расспрашивал его о подробностях. В этом не было необходимости. Поппер рос. Он основывал одну колонию за другой. На конвертах его писем постепенно появлялись все новые и новые штемпеля: Colonia San Sebastian, Colonia el Parano и, наконец, вершина всего: Colonia Carmen Sylva! И у великих людей есть свои слабости. И суровые завоеватели имеют свое чувствительное место. Я представлял себе пионера Поппера в виде Наполеона или, на худой конец, Сесия Родса Огненной Земли. Вот он сидит где-нибудь в хижине перед очагом — высокие сапоги, широкополая шляпа, за поясом пистолет — и в свете потрескивающих поленьев в тысячный раз читает стихи королевской поэтессы. Или едет по снегу на санях, которые тянет собачья упряжка, под ночным небом, озаренным блеском звезд Южного креста и спасается от тоски, читая вслух стихи обожаемой королевы. Этот могущественный человек, захваченный когда-то искусством королевы, имел лишь возможность мечтательно глядеть в угол, где стоял мой умывальник. Сейчас он мог полностью проявить свою силу и назвать именем румынской королевы новые территории. Попперу не надо было мне ничего писать. По этому штемпелю я полностью представлял себе его новую жизнь.

Поппер вызывал во мне чувство гордости. Я превозносил его перед приятелями при каждом удобном случае. Приводил его в пример коллегам, недовольным своим низким жалованьем. Я объяснял это нехваткой прилежания. Правда, лишь слабенькая помощь, которую я ему оказал перед отъездом, давала мне право гордиться его подъемом, но Поппер не забывал этого. Он присылал мне все новые и новые конверты при каждом подхо-

дядем случае. Всегда на каждой марке был чистенько поставлен его красивый штемпель, так что можно было смело сказать, что это совершенная штемпельная каллиграфия. Взгляните-ка на конверт, который я выбрал для вас...

Всмотритесь и спокойно отдайте мне за него сто крон. Марка на нем особенно хороша. Colonia Popper читается, как чеканка на медали, так отчетливо напечатаны эти слова. Сейчас старенький Поппер, бедняжка, находится в пражской еврейской богадельне. Туда с заседаний банковских административных советов посылают для курева обсосанные окурки от сигар. А у него теперь уже только одна страсть: любит хорошо покурить. Не дорогие «гаванны», а дешевые «кубы» или «порторико». На это и уйдут ваши сто крон. Обращаться к нему за подробностями из его жизни бесполезно. Он неразговорчив. По-немногу теряет память. Ведь ему уже семьдесят. Вы не узнаете больше, чем от меня. Он рассказал мне все, когда вернулся с Огненной Земли и еще не остыл.

Он ввалился ко мне в девяносто пятом году. Куда девались высокие сапоги, распахнутая рубашка с платочком, выбритое лицо, сомбреро и пистолет за поясом?! Передо мной стоял обнищавший европеец в стоптанных башмаках с двухсантиметровым жнивьем на щеках.

Положив на пол маленький сверток, он уселся на свое старое место возле печки и произнес:

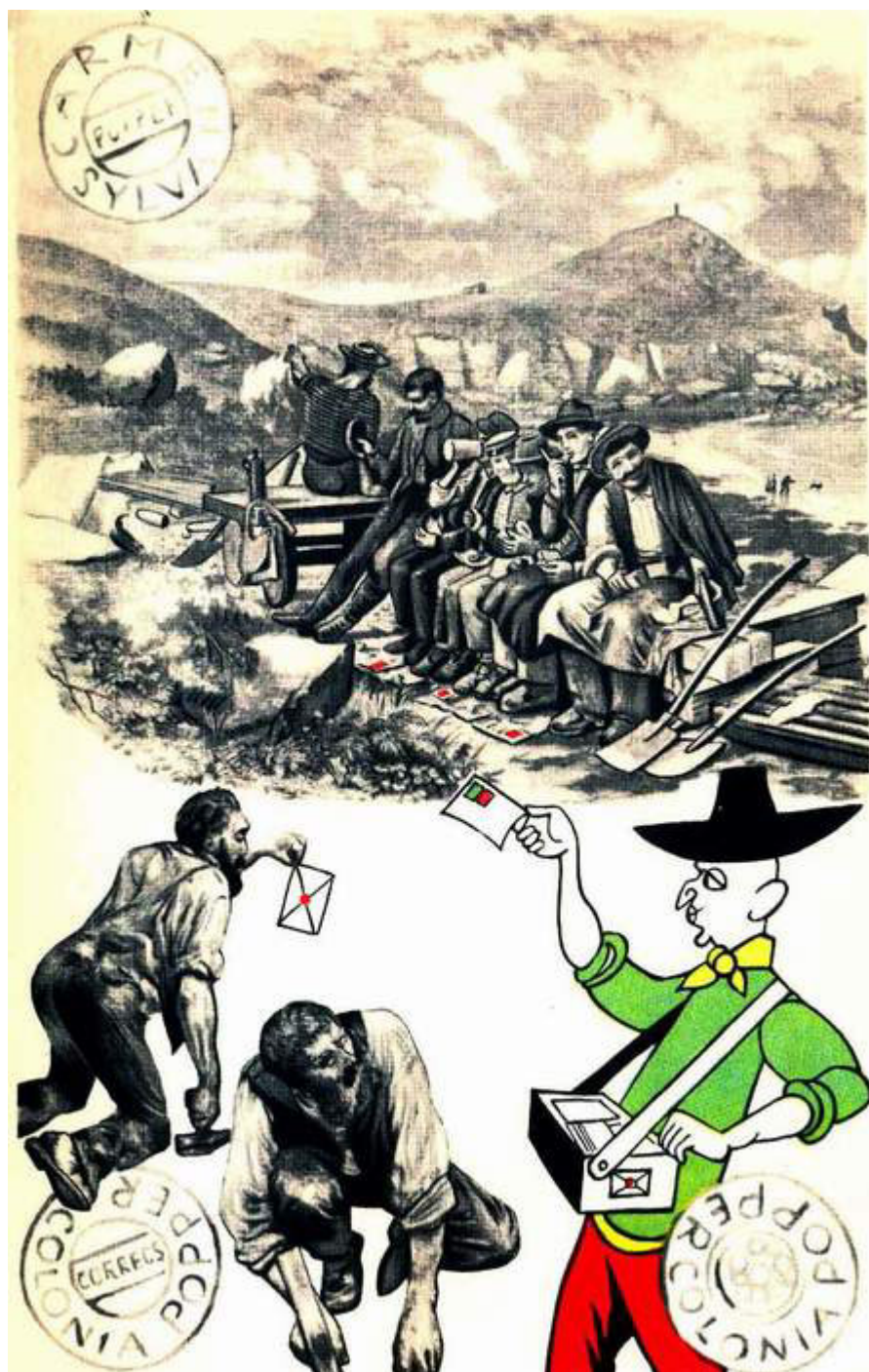
— Славу богу, я опять в Праге. (Он произнес это так, словно только что приехал из Бенешова, а не с Огненной Земли.) А теперь и десять Гринфельдов не отправят меня отсюда.

Не скоро пришел я в себя от изумления. Поппер находится не у антиподов, а у моей печки! И какой запущенной внешностью сменился блестящий вид завоевателя Поппера. Прошло немало времени, пока Поппер начал рассказывать. По крайней мере, пока я не сварил черный кофе и Поппер не выпил три чашки. Вот что я узнал от него.

Прежде всего: потерпели крах золотые прииски. Господин Поппер, правда, купил участок, но, не найдя в течение недели золота, продал его. Чистую рубашку, сомбреро и пистолет фотограф одалживал своим клиентам. И никакого торгового заведения, конечно, не было. Корзинка с кучкой товаров. С ней он ходил по лагерям золотоискателей. Он носил эту корзинку на ремне перед собой: гребни, помада для усов, свечи, шнурки, пояса, слабительное, динамитные патроны и еще нечто подобное.

И, конечно же, никаких Colonia Popper и Colonia Carmen Sylva и всех остальных. Но это требует более подробного пояснения.

Когда он так кочевал со своим товарцем по стране, покупатели часто просили его, чтобы он взял с собой к побережью их письма. Он мог передать их владельцу какого-нибудь судна, отправляющегося в Аргентину, где-нибудь в порту, скажем, в Рио-Гранде. Он мог доверить их кому-нибудь из охотников, и тот, когда он будет перебираться через острова, возьмет их с собой в Порвенир, где находится чилийская почта. Обыкновенно Поппер получал, кроме денег для оплаты почтового сбора, еще несколько сентаво за свои услуги. Иногда эта сумма составляла большую долю его коммерческих заработков. Вот это и явилось поводом для рождения у Поппера его совершенно оригинальной идеи. Он распродал свои запасы, но на вырученные деньги вместо новой партии гребней, помады и так далее заказал себе в Буэнос-Айресе что-то вроде марок для писем. Буэнос-Айрес находится далеко от Огненной Земли, удален примерно так же, как Прага от Нью-Йорка, но там был владельцем типографии наш чешский земляк Соукуп (там он пишет свою фамилию Soucoup), и ему-то Поппер сумел по-чешски объяснить, как он представляет себе свои марки.



То, что он потребовал от Соукупа, доказывало, что во время своих визитов ко мне он рассматривал мои коллекции более внимательно, чем я полагал, хотя казалось, что он смотрел на них лишь одним глазком. Ведь марка Поппера включает в себя все, что должно иметься у порядочной марки: знак, страну, цену. Вдобавок, Поппер проявил филателистский такт. Так как письмо с Огненной Земли доставляла дальше почта двух государств, он не забыл повторить на своих марках мотивы их почтовых марок — аргентинское письмо и чилийскую белую звездочку. В людях таятся различные таланты, и кто знает, каким дипломатом мог бы еще стать Поппер, родился он заправским помещиком, а не еврейским шнорером. Кроме марок, он заказал себе также необходимое штемпеля, сначала Colonia Popper для личной рекламы, потом San Sebastian и так далее и, наконец, Colonia Carmen Sylva в честь благородной поэтессы. Вы еще дождетесь, что когда-нибудь историки, не знающие ничего о его любви, из-за его преданности королеве объявят его румыном, заберут его у нас и обездолят этим наш народ и Прагу...

Так продолжал Поппер свои странствия по селениям и лагерям золотоискателей, но теперь он уже не торговал, а в коробе перед собой носил свое почтовое учреждение. Слух о нем вскоре распространился по Огненной Земле. Каждый лагерь, где Поппер еще не появлялся, чуть ли не с обидой требовал его посещения. Поппер по-прежнему собирал письма, которые золотоискатели и поселенцы хотели отослать, и принимал, как и раньше, деньги на оплату почтовых расходов для Аргентины или Чили. Но новым было то, что за каждое письмо, которое ему вручали, Поппер требовал вдобавок десять сентаво, а за эти десять сентаво он сразу же, на глазах отправителя, наклеивал на письмо свою марочку и тщательно ставил на нее штемпель с названием колонии по требованию. Это было очень забавное нововведение, и оно приятно разнообразило жизнь золотоискателей, так что все придерживали свои письма, пока Поппер не придет за ними. Они охотно платили десять сентаво, забавляясь тем, как Поппер ставит штемпеля на марки, даже если они были лишь в километре пути до бара в Рио-Гранде. Здесь бармен принимал бесплатно письма от каждого, кто тратил у него несколько пезо. Бармен не наклеивал марки на письма и на штемпель не дышал, прежде чем тщательно притиснуть его к марке. Он просто бросал письма в грязный ящик стола, к другим, ожидающим отправления ближайшего судна. Между тем обхождение Поппера с каждым письмом было не только забавным — это было нечто похожее на священнодействие, он словно благословлял письмо перед дорогой, и отправитель начинал верить, что такое письмо правильно передаст все то, что он намеревался им передать. Кроме того, бармен был католиком, одним из многих, между тем как Поппер был единственным евреем на Огненной Земле, а это делало его особенно интересным для каждого.

Итак, вначале была великолепная шутка: Поппер почтмейстер Огненной Земли! От повторения шутка потускнела, осталось сострадание к несчастному еврею, движущемуся, как тень, среди оживленного населения золотых приисков. Позднее, примерно через год, — в новых краях год является столь длительным сроком, что его достаточно даже для создания традиции, — к маркам и штемпелям Поппера так привыкли, что его право взимать за каждое письмо по десять сентаво накрепко утвердилось. Больше того, каждый капитан, отправляющийся в Аргентину, и каждый охотник, собиравшийся перебраться через остров на чилийскую сторону, считали своим долгом сначала вежливо справиться у Поппера, нет ли у него какой-нибудь почты для дальнейшей пересылки. Так шнорерство Поппера превратилось в признанную всеми должность, дававшую ему возможность прилично жить.

В 1893 г. на марки Поппера обратил внимание какой-то новый дотошный чиновник аргентинской почты, искавший и не нашедший о них сведений в почтовых инструкциях. Заработала бюрократическая машина. Наконец, аргентинский министр почт и финансов прислал на Огненную Землю своего почтмейстера. Тот конфисковал у бедного Поппера запас марок и набор штемпелей и начал взимать его десять сентаво для аргентинской почтовой казны. Если бы это был настоящий колонизатор, а не Поппер, то он использовал бы начавшееся короткое волнение среди золотоискателей и отторгнул бы новые территории от страны-метрополии. Но вскоре волнение улеглось, и Поппер стал предметом новых шуток среди своих временных сограждан. Они помогали ему составлять прошения с требованием вознаграждения со стороны аргентинского правительства, затем — заявления и жалобы о возвращении прав и миллионном возмещении убытков и, наконец, письма, угрожающие неприятельскими действиями, даже вооруженными. Все эти документы были пересыпаны словами угроз и ругательств. И когда он в своих корреспонденциях начал также ссылаться на вмешательство австрийского консула из Буэнос-Айреса, пришло решение, лишившее золотоискателей их забавы, но с радостью принятое Поппером: консул предложил ему бесплатное возвращение в Прагу.

Поппер пустился в путь с тощим узелком в руках. В кармане, кроме нескольких пезет, собранных для него его приятелями с Огненной Земли, лежала книжка стихов королевы. Он перечитывал ее в уголке трюма во время всего шестинедельного трудного плава-

нья.

Таким образом, основатель новой почтовой системы вернулся через Атлантический океан в Прагу, ко мне, к господину Гринфельду, к своему ремеслу назойливого шнорера, на пост десятого набожного еврея в Староновой синагоге. То, что он пережил, оставило лишь один видимый след, а именно — его марки, которые он присылал мне. Они лежали в моем бельевом шкафу. Разумеется, что он и не подумал, хотя я напомнил ему об этом, затребовать для своих марок официального признания в Берне (все равно это было бы напрасно, раз не существовали ни колония Поппер, ни другие). Теперь эти марки были просто игрушкой частного лица. Я знал, что значение их даже еще меньше, что это лишь квитанции убогого шнорера за подаренное подаяние.

И все же их наклеивали на письма, шедшие почтовой пересылкой через Огненную Землю, и оттуда, возможно, они пересекли половину земного шара. И можно было бы найти для них аналогию с другими марками, существовавшими в мире, которая дала бы им право также очутиться в альбомах серьезных коллекционеров и подняться в цене. Таким способом Попперу была бы оказана помощь. Я пытался продать их в разных местах, но люди и даром не брали их. А о серьезных коллекционерах и говорить не приходится.

Поппер опять шноровал, и жилось ему неважно. Я стал уже забывать о его марках. Но вот, года два назад, он явился ко мне и расплакался. Я было испугался, что его снова высылают куда-то за море. Оказалось другое. Его посылают в богадельню. Это делает уже не господин Гринфельд, прошло уже порядком лет, как он умер, царство ему небесное, говорил Поппер, тот был хороший и ласковый. А вот эти молодые евреи не умеют ценить старого единоверца, который попрошайничал еще у их отцов, если не у дедов, и намереваются запихнуть его в богадельню, чтобы им не приходилось раз в неделю впускать его в дом. Это его-то, свободного и независимого человека!

Ничего нельзя было поделать. Поппер должен был уйти в богадельню. И тогда я задумался: филателия за столько лет разрослась, неужто нет в ней уже места и для других людей, кроме серьезных коллекционеров? Неужто не попали в среду филателистов романтики и фантасты, которые охотно собирают марки как раз такого сорта, как марка Поппера? Марки, рассказывающие о странных людях, знаменитых приключениях, о блуждающих мореплавателях, невиданных странах и забытых островах?

И романтики среди филателистов, в самом деле, отыскались. Я раскопал их, в общем, восьмерых и продал им десять конвертов Поппера за девятьсот крон, так что у Поппера набралось небольшое приданое для богадельни. Однако все филателисты в мире, прежде чем вклеить марку в свою коллекцию, справляются, зарегистрирована ли она в надлежащем каталоге и удостоверена ли она филателистической бюрократией.

И я, если хотите знать, даже попытался обеспечить марке Поппера официальное признание и место в каталоге. Случай натолкнул меня на мысль о такой возможности.

Вы слышали когда-нибудь о марках братьев Денгардтов? Примерно в то же время, когда Поппер появился на Огненной Земле, появились в стране Суахили в Восточной Африке какие-то братья Денгардты. Страна Суахили, Суахилиленд, была наполовину германским протекторатом, все еще имевшим своего короля. Братья говорили о себе, что они плантаторы и доверенные короля, и ни с того ни с сего начали для его подданных выпускать почтовые марки. Распространяли слухи, будто король доверил им управление почтой в его черном королевстве. Старательные братья организовали, таким образом, печатанье марок, причем сразу же в больших масштабах, вплоть до наивысшего номинала в одну рупию. И это в стране, где трудно было найти человека, умевшего написать письмо! Они напечатали марки и таких достоинств, что с их помощью можно было бы оплатить почтовый сбор за пересылку заказным и экспрессом рукопись трехтомного романа.

Поппер мог бы с таким же основанием утверждать, что кто-то доверил ему вести почтовые дела Огненной Земли. Кто стал бы выяснять на таком расстоянии, как до Огненной Земли или Суахилиленда, тогда еще белых пятен на карте, по чьему велению там внезапно появилась почтовая связь? Ведь не имея этого якобы королевского поручения,

ходили бы господу Денгардты по Африке с коробом на животе и с штемпелями в кармане так же, как Поппер, и, как он, выманивали бы из карманов черных возлюбленных деньги на марки для их любовных писем, прекрасно обходившихся, до прихода братьев, без оплаты почтового сбора. А ведь Поппер действительно имел красивые штемпеля и прекрасную марку, а не разноцветные бумажонки с разными каракулями, которые Денгардты печатали и выдавали за суахилилендские марки! С Денгардтами было покончено немного раньше, чем с Поппером. Германия заинтересовалась островом Гельголандом и обменялась с Англией, отдав ей Суахилиленд. Так мир потерял гельголандские марки — у почтмейстеров суахилилендского султана осталось от их славы как раз столько же, сколько примерно у моего Поппера: несколько марочных листов, пачка конвертов с гашеными марками и, пока, восьмерка коллекционеров-романтиков, купивших эти марки.

Однако честь и слава немецкому организаторскому таланту! Суахилилендским маркам — конечно, лишь после того, как за них взялись спекулянты и когда последний Денгардт умер в бедности — была устроена порядочная реклама. С помощью специалистов от филателии была даже доказана их кое-какая официальная подлинность. С патриотической настойчивостью они были включены хотя бы в германские каталоги, и окажись у вас сейчас их комплект в коллекции, вы могли бы сделать выбор между ними и трехэтажным домом в Виноградах. Конечно, я больше рекомендовал бы вам дом.

Я ухватился за все доводы и доказательства, которые были собраны, чтобы утвердить значимость денгардтовского Суахилиленда и соответственно, требовал такого признания марки Поппера. Однако выясилось, что бедный человек и маленькая надия не получают признания в мире. Было сказано, что это только игрушка и еще кое-что подобное. Даже Зенф, с которым я так давно связан, вернул мне марки Поппера с извинениями, что он по коммерческим причинам не может включить их в свой каталог. Вот, ей-богу, можно подумать, что фамилия Поппер испортила бы ему каталог! А Зенф⁷⁾ что ли более благородная фамилия?

Вот и все. А теперь скажите, разве не стоит эта марка вместе с историей ста крон Попперу на сигареты? Как он, бедняга, обрадуется, когда я скажу ему, что среди филателистов нашелся уже девятый романтик!

Издательство «Связь»
Москва 1969
Перевод с чешского
Э. Кольмана и Е. Концевой

ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ Градчаны — пражский Кремль (здесь и далее примечания переводчиков).

²⁾ «Протекторат Богемия и Моравия». Это было в годы фашистской оккупации Чехословакии.

³⁾ Гумполец — город в южной Чехии, центр текстильной, в особенности суконной промышленности.

⁴⁾ Габриэль Д'Аннунцио — итальянский поэт конца XIX, начала XX века, идеолог империализма, примкнувший к фашизму.

⁵⁾ Садитесь, пожалуйста!

⁶⁾ По-еврейски — попрошайка.

⁷⁾ Senf — горчица (нем.)

